Дмитрий ЛИХАЧЕВ

Я ВСПОМИНАЮ

Я ВСПОМИНАЮ

Дмитрий ЛИХАЧЕВ



Дмитрий
ЛИХАЧЕВ

Я вспоминаю



«ПРОГРЕСС»
Москва 1991

ББК 84Р7
Л65

Вступительная статья *Н. Г. Самвеляна*
Художник *Г. А. Семенова*
Художественный редактор *В. А. Пузанков*
Редактор *Е. Б. Дементьева*
Младший редактор *Т. И. Матвеева*

Лихачев Д.

Л65 Я вспоминаю.— М.:Прогресс, 1991.— 256 с.

В книге Героя Социалистического Труда академика Д. С. Лихачева публикуются его воспоминания о детстве, юности, об увлечении древнерусской литературой. Сюда вошли расшифрованные в 1989 году Лихачевым «Соловецкие записи», рассказывающие о его пребывании в заключении во времена сталинских репрессий. Записи были переданы родителям на волю в 1930 году.

Второй раздел книги составили публицистические выступления Д. С. Лихачева последних лет. Это статьи, интервью, беседы о болевых проблемах общества — проблемах нравственности и культуры.

Л $\frac{4702010204-096}{006(0)-91}$ 72-91 **ББК 84Р7**

ISBN 5—01—002675—9

© Издательство «Прогресс», 1991

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

О превратностях судьбы, о хитрых, чаще всего невидимых глазу законах, о путях, ведущих к славе, написаны тысячи научных трактатов, статей, романов, рассказов, исследований, дневниковых раздумий. Это тревожило людей во все времена: и в древнеегипетские, и еще ранее... Уже Асархаддон жаловался: «Я исчерпал тебя до дна, земная слава...» Значит, верил, что, кроме земной, бывает еще иная, неземная слава. Но тоже — слава.

Итак, что же такое слава? Чаще всего она приносит с собой те или иные виды власти: прямой или же скрытой, но все же власти безусловной. Другое дело, пользуется этим человек или нет. Тут уже многое зависит от его взглядов на мир, на свое собственное место в этом мире.

Кроме того, слава дает бессмертие или же, на худой конец, иллюзию бессмертия. Уже одного этого достаточно, чтобы понять, почему к славе стремились во все времена и будут стремиться в будущем, пока существует наша цивилизация.

Вот об этом обо всем, а еще о феномене Лихачева толковали мы поздним январским вечером 1986 года с эстонским писателем Леннартом Мери на последнем или предпоследнем этаже высотной гостиницы в Таллинне. И огоньки внизу светились совсем мирно, даже немного лирически-сонно, как на старинных рождественских открытках...

Но хорошего кофе в Таллинне уже не было. И мы пили растворимый из какой-то яркой заморской жестянки, размешивая его в чашках не ложками, которых почему-то в тот поздний час не оказалось, а чистилками для трубок...

Леннарт вспоминал свои встречи с Жан-Полем Сартром около Тарту в ночь на Ивана Купала, когда они беседовали о стойкости языческих праздников и верований...

— Тогда Сартр был в зените своей славы... Интересное явление происходит сейчас с академиком Лихачевым. Человек в один-два года обрел огромное влияние не просто на многих людей, но и на многие народы...

— Дмитрий Сергеевич Лихачев и раньше был достаточно известен,— пытался я возразить.— Еще в 50-е годы Лихачев занялся защитой памятников старины. Удалось спасти центр Новгорода от застройки высотными зданиями, спасти от сноса новгородский земляной вал. Благодаря протестам Лихачева, его выступлениям, статьям, письмам перестали без разбору вырубать дворцовые парки ленинградских пригородов. Лихачев выступал по телевидению против опрометчивых, часто малограмотных переименований улиц. Немудрено, что такая деятельность, мягко говоря, вызывала недовольство. Но он словно не считался с последствиями и неприятностями, на которые себя обрекал. Существовала тогда тенденция замалчивать его работы. Было и так — какое-то время считался «невыездным».

— Знаю, но я не совсем об этом,— прервал меня Леннарт.— Безусловно, есть какой-то феномен Лихачева... Ведь внезапно на признании его позиции и принятии ее сошлись люди различных убеждений, которые по многим другим вопросам вряд ли сумели бы договориться. Есть в этом и нечто удивительное, и даже какая-то загадка.

— Может быть, все дело в том, что люди запутались и им стал нужен большой Учитель, другими словами — Пророк? Иначе во всем придется разбираться самим, а это трудно, мучительно и неудобно. Без Покаяния не обойтись, а далеко не каждый на него способен. Прийти к Лихачеву означает, что ты как бы перепоручаешь Покаяние ему, а сам готов воспользоваться итогом...

— Допустим, это так, в чем, впрочем, не уверен. Скорее речь идет о подсознательном стремлении найти подтверждение собственным мыслям в позиции авторитетного, всеми уважаемого человека.

Говорили мы долго, но так и не пришли к какому-то выводу. Да и можно ли было все расписать по пунктам и подпунктам. Сошлись на том, что можно говорить о массовом интересе к личности Дмитрия Сергеевича Лихачева как о явлении. И у каждого в воображении (да и в прямом восприятии) будет свой Лихачев, а может быть, и во многом отличный от того образа, который видится другому. И в этом нет ничего удивительного, это естественно.

И все же, что связано сегодня с именем академика и народного депутата СССР, Председателя правления Советского фонда культуры и почетного члена многих европейских академий — Дмитрия Сергеевича Лихачева? Какое новое понимание реалий сегодняшнего дня было обозначено Дмитрием Сергеевичем, почему все так ждут его выступлений?

Может быть, книга, которую вы держите в руках, поможет ответить на эти вопросы. Она интересна тем, что в какой-то мере представляет собой визитную карточку: вот мысли, мнения, взгляды человека в динамике, в движении — то, к чему он шел всю жизнь.

Воспоминания Лихачева наряду с публицистическими выступлениями прекрасно отражают черты его личности: душевную чистоту, мягкость и непреклонность, умение подняться над суетой жизни, гражданственность, любовь к России.

Вряд ли эту книгу надо взять и прочитать в один присест, залпом. Уместнее будет ее изучить, к ней присмотреться. И тогда вы увидите, что через воспоминания, беседы, статьи разных лет четко, хотя и не всегда акцентированно, проходит мысль о доминанте культуры. Не случайно Лихачев ввел в обращение термин «экология культуры».

Политические доктрины и экономические структуры вторичны. Они таковы, каков общий культурный уровень общества. Для того чтобы существовали и действовали демократические общественные институты, необходимо какое-то количество демократов. А демократы — это не просто сторонники той или иной партии, а люди демократических убеждений. Сами же демократические убеждения возникают не по приказу, не по директивному решению директивной инстанции, а воспитываются терпеливо и настойчиво.

Другими словами, прогресс возможен только в связи с ростом общего культурного уровня общества, что может быть процессом только эволюционным, а не взрывным и внезапным. Четкий этический и нравственный фундамент — основа всех видов нормальных личных и общественных взаимоотношений.

Вера в то, что Личность сильнее всех антиличностных идей и что гуманизм в конце концов торжествует в схватке с силами антигуманными, вела по нелегкой жизни Дмитрия Сергеевича Лихачева. Как стойкий оловянный солдатик, он готов был погибнуть, расплавиться, но не изменить самому себе, а следовательно, не изменить и людям. И эту твердую веру в непобедимость **нравственного человека** он сохранил и принес ее нам. Вот за это мы ему и благодарны.

Так мог бы закончиться тот давний разговор о феномене Лихачева с Леннартом Мери. Таким вступительным словом хотелось бы предварить эту книгу.

В подготовке книги приняла участие ассоциация творческой интеллигенции «Мир культуры».

Николай Самвелян

1
ПЕРЕЖИТОЕ

В какое необыкновенное время я «посетил» свою страну. Я застал все роковые ее годы...

Д. С. Лихачев

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Воспоминания открывают нам окно в прошлое. Они не только сообщают нам сведения о прошлом, но дают нам и точки зрения современников событий, живое ощущение современников. Конечно, бывает и так, что мемуаристам изменяет память (мемуары без отдельных ошибок — крайняя редкость) или они освещают прошлое чересчур субъективно. Но зато в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения ни в каком другом виде исторических источников.

Тимковский писал: «Судьба украсила мою жизнь событием редким, незабываемым: я видел Китай» («Путешествие в Китай через Монголию». СПб, 1824). Сколько подарков от судьбы имею я: представьте, я видел две революции, три войны, блокаду, Соловки, Англию, Сицилию, Болгарию. И многое другое.

Дм. Ник. Чуковский рассказывал мне, что на ночном столе у его деда, Корнея Ивановича, лежала папка, на которой было написано: «Что вспомнилось». Я решил превратить это название в жанр мемуаристики, в серию заметок, больших и малых, расположенных в хронологическом порядке, но не претендующих на систематический рассказ о прошлом.

Вспоминается то, что запомнилось. Для каждого же возраста есть свое запоминающееся в жизни, что в свое время произвело сильное на вас впечатление. Детские воспоминания всегда носят отрывочный характер, и это можно почувствовать, читая любые воспоминания — даже и те, что претендуют на систематичность. Но ведь та же отрывочность характерна и для воспоминаний взрослых, только последних больше и их легче вытянуть в линию рассказа. А я этого делать не буду, ибо больше всего неправды именно в этих связках ме-

жду яркими воспоминаниями, в обобщениях, в попытках восстановить в памяти — «а что же было потом!».

Первые детские воспоминания наивны и таят в себе стремление к будущему; взрослые воспоминания могут быть мудры, это брызги на поворотах; стариковские — вернее, те, что относятся к пожилой жизни, — печальны. Это жалобы. Они мало интересны. Да и самим старикам хочется обратиться к далекому прошлому и, каким бы оно ни было страшным, в нем искать утешение и даже радость.

Итак, «что вспомнилось»!

С рождением человека родится и его время. В детстве оно молодое и течет по-молодому — кажется быстрым на коротких расстояниях и длинным на больших. В старости время точно останавливается. Оно вялое. Прошлое в старости совсем близко, особенно детство. Вообще же из всех трех периодов человеческой жизни (детство и молодость, зрелые годы, старость) старость самый длинный период и самый нудный.

Я не считаю таким уж важным мое собственное развитие — развитие моих взглядов и мироощущения. Важен здесь не я, а как бы некоторое характерное явление.

Отношение к миру формируется мелочами и крупными событиями. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомнений, и самое важное — мелочи, из которых складывается работник, его мировосприятие, мироотношение. Об этих мелочах и случайностях жизни и пойдет речь в дальнейшем. Все мелочи должны учитываться, когда мы задумываемся над судьбой наших собственных детей и нашей молодежи в целом. Естественно, что в этой своего рода «автобиографии», представляемой сейчас вниманию читателя, доминируют положительные воздействия, ибо отрицательные чаще забываются. Я лично, да и каждый человек крепче хранит память благодарную, чем память злую.

Интересы человека формируются главным образом в его детстве. Л. Н. Толстой пишет в «Моей жизни»: «Когда же я начался? Когда начал жить?.. Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился

смотреть, слушать, понимать, говорить... Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и $^{1}/_{100}$ того?»

Поэтому в этих своих воспоминаниях я уделю главное внимание детским и юношеским годам. Наблюдения над своими детскими и юношескими годами имеют особое значение. Хотя и последующие годы, связанные с работой в Пушкинском Доме Академии наук СССР, также важны.

Мой дед по отцу Михаил Михайлович Лихачев, потомственный почетный гражданин Петербурга и член Ремесленной управы, был старостой Владимирского собора и жил в доме на Владимирской площади с окнами на собор. На тот же собор смотрел из углового кабинета своей последней квартиры Достоевский. Но в год кончины Достоевского Михаил Михайлович не был еще церковным старостой. Старостой был будущий тесть его — Иван Степанович Семенов. Дело в том, что первая жена моего деда и мать моего отца Прасковья Алексеевна умерла от чахотки (тогда не говорили «туберкулез»), когда отцу было лет пять, и похоронена на дорогом Новодевичьем кладбище, где не удалось похоронить Достоевского. Отец родился в 1876 году. Михаил Михайлович (или, как его звали у нас в семье, Михал Михалыч) женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова — Александре Ивановне. Иван Степанович принимал участие в похоронах Достоевского. Отпевали писателя на дому священники из Владимирского собора... Сохранился один документ, любопытный для нас — потомков Михаила Михайловича Лихачева. Документ этот приводит Игорь Волгин в рукописи книги «Последний год Достоевского».

И. Волгин пишет:

«Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду. И все же похороны обошлись ей сравнительно недорого: большинство церковных треб совершалось безвозмездно. Более того: часть истраченной суммы была возвращена Анне Григорьевне, в чем удостоверяет весьма выразительный документ:

«Честь имею препроводить к Вам деньги 25 рубл.

серебром, сегодня предоставленные мне за покров и подсвечники каким-то неизвестным мне гробовщиком, и при этом объяснить следующее: 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Ф. М. Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с Вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то ни права, ни резона, да и сколько он взял их, неизвестно. А потому, как деньги взяты самовольно, я препровождаю Вам обратно и прошу принять уверения в глубоком уважении к памяти покойного.

Церковный староста Владимирской церкви
Иван Степанов Семенов».

См. в бумагах А. Г. Достоевской папку, озаглавленную «Материалы, относящиеся к погребению». ГБЛ, ф. 33, Щ. 5.12, л.22.

Дед мой по отцу, Михаил Михайлович Лихачев, не был купцом (звание «потомственного и почетного» давалось обычно купцам), а состоял в Петербургской ремесленной управе. Был он главой артели.

Дочери моей Вере как-то сказали, что в архиве Зимнего дворца видели прошение моего деда о вспомоществовании его артели золотошвейного мастерства, работавшей для двора с 1792 года. Расшивали серебром и золотом, очевидно, мундиры.

Но в моем детстве артель деда была уже не золотошвейной.

Дедушку мы посещали на Рождество, на Пасху и в Михайлин день.

Дедушка обычно лежал на диване в своем огромном кабинете, где потолок, помню, был в трещинах, и я всякий раз, входя к нему, боялся, что он обрушится и задавит дедушку. Выходил дедушка из своего кабинета редко. В семье его боялись до ужаса. Дочери почти не выходили из дому и никого не приглашали к себе. Только одна из моих теток, тетя Катя, вышла замуж. Другая, тетя Настя, умерла от чахотки, окончив с золотой медалью Педагогический институт. Я ее очень любил: она со мной хорошо играла. Третья, тетя Маня, окончила Медицинский институт и уехала под Новгород

на Фарфоровый завод: думаю, чтобы избавиться от гнетущей обстановки в семье. Дядя Вася стал служащим Государственного банка, а дядя Гаврюша метался: то уходил на Афон, то пропадал где-то на юге России. Тетя Вера жила после смерти дедушки в Удельной, отличалась фанатической набожностью и такой же добротой. Отдала в конце концов свою квартиру какой-то бедной многодетной семье, переселилась в сарай и умерла от голода и мороза во время блокады Ленинграда.

А отца дед хотел сделать своим преемником и обучать в коммерческом училище. Но отец поссорился со своим отцом, ушел из дому, поступил самостоятельно в реальное училище, жил уроками. Потом стал учиться в только что открывшемся Электротехническом институте (он помещался тогда на Новоисакиевской улице, в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.

Мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то в середине XIX в.). По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничьего моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспеевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспеевы и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь — где теперь Музей Арктики и Антарктики.

Отец матери, Семен Филиппович Коняев, был одним из первых бильярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Проиграв все — мучился и стеснялся,

но неизменно отыгрывался. В квартире постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все прощала.

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только учился говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им — зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, и отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покука́ть». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак-Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Ма́клина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного деда-мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, деда-мороза, — он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка — Берчика. Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик воспитывал в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешили в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он воспитывал потом мою внучку, неизменно молчащий и ласковый.

Мне было два или три года. Я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там «Сказка о счастливом Гансе». Одна из иллюстраций — сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я про-

сыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал — наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены, время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алупке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера — всего 50 лет назад!

Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в приготовительный класс.

Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно.

Человек, и зверь, и пташка —
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка,
За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг,
Лес проснулся и шумит,
Дятел носом: тук да тук!
Звонко иволга кричит.

Рыбаки уж тащат сети,
На лугу коса звенит...
Помолясь, за книгу, дети!
Бог лениться не велит.

Из-за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта. А знали ее все благодаря хрестоматии Ушинского «Родное слово».

А вот и другая песенка, которую мы пели:

Травка зеленеет,
Солнышко блестит;

Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен,
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой.

Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то говорит «прочь с дороги» — «прощебесь с дороги». Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки!

Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья — Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонемента. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, — «Щелкунчик», и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, — это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставлять играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои

родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.

С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое» (именно так сокращала названия балетов и Ахматова), «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.

В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес: он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х годов на Басковом переулке и шел ремонт зрительного зала театра после войны (там попала бомба в фойе, и обивку и занавеси обновляли).

Когда я слушал разговоры о Мариу́се Мариу́совиче и Марии Мариу́совне Петипа, мне казалось, что речь идет об обыкновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости.

Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь Филармонии), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной дороги были достаточными, чтобы стереть границы между городом и искусством...

По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото, называя бочоночки с цифрой непременно с прибаутками; играли в шашки; отец обсуждал прочитанное им накануне на ночь — произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы Мамина-Сибиряка. Все это в широко доступных дешевых изданиях — в приложениях к «Ниве».

О Петербурге моего детства

Петербург-Ленинград — город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать — нельзя полюбить Ленинград. Петропавловская кре-

пость — символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу — символ плененной красоты.

Петербург и Ленинград — это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.

Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Ка́тали выгружают барки тачками. Быстро-быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, а особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей канавке у Летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой — горшками, тарелками, кружками, — а бывают и игрушки, особенно любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это мачты шхун — у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.

Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно на-

блюдать, как два здоровых молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладинкой для упора, и двигают целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде.

Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, пополавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные — казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма — одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность — оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротно, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! — Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего — повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыннее. А на небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висят сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролеток. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладиной, к которой прислоняют фонар-

щики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.

В частые праздники — церковные и «царские» — вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.

А какие красивые первые этажи главных улиц! Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их снимут в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях — подышать воздухом. Они не только в дворцовых подъездах — но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны — особенно для детей. Дети тянут ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека.

Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» — это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами — Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: бриллианты сверкают, переливаются.

Асфальт — это теперь, а раньше — тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаа-

кию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было содержать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников своего дела. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много — в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1924 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.

Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету: темно-сине-серые. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие.

Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший перед, и переносил его назад, там ставил. Во время первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в нем трясло, скорость для него была необыч-

ной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.

Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать — удовольствие, зимой — холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивались в вагоны, стояли на ступеньках, держались за поручни, висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайные столбы.

Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканию мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь и сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» — дождевым. А потом — мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же — там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!» Редко кричали «берегись» (отсюда — «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали названия газет, а во время первой мировой войны — и что-нибудь из последних новостей. Выкрики, приглашающие купить пирожки, яблоки, папиросы, появились только в период нэпа.

На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.

Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок — перед тем как трамваю тронуться. Кон-

дуктор (до войны — всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке, к ней были прикреплены кожаные петли, за которые могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» — на участок пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересесть в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!», или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.

Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались

серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетавшие шарики: красные, зеленые, синие, желтые и самые большие — белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда было оживление. Продавцов всегда было издали видно по клубившимся над их головами связкам веселых шариков.

В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень — это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!» Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».

А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, — не у всех были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...

Зимой — самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани тоже были красивыми.

Как ребенка меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых. Магазины, впрочем, помню — те, в которые заходил с матерью: «колониальные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «суровский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские», «писчебумажные». Сло́ва «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» — только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло

покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.

Первые кинематографы. Теперь совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. По субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», — около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель Титаника» — это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке), обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки — каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый — для зелени, синий — для неба. Однажды были на Невском в «Паризиане» или «Пикадилли» — не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.

Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы офицеры приходили, как правило, ко второму акту. В «Дон Кихоте» пропускали пролог. В антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.

На Страстной и к пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где отец служил столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество было спрятано за карнизы, и лампады горели электрические, что некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением — это был его проект. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь хо-

дила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.

Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших на дворе. Во двор приходили старьевщики-татары, кричали: «Халат-халат!» Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.

Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю Первому. Это были солдаты, служившие еще Николаю Первому. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему... На развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши — оглушительно под аркой Генерального штаба, отзывавшейся эхом.

Петербург был городом трагической и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний — сплошь темный ночами (государь с семьей жили в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора — и меч, и флюгер одновременно — кому-то угрожал. Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой — катания на оленях, летом — зверинец и пруды с золотыми рыбками), среди дворцов — словно под присмотром бонн и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищуривался одним среди многих, единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.

О старом Петербурге вспоминает В. Вейдле в книге

«Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской, около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом № 6 — гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами — такими же, как в Париже. Французские булки из Испании — там они тоже назывались «французскими», но во Франции не пеклись. Затем ювелир Боли́н со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики Тонет — фабрика венских стульев, легких и удобных.

Перейдя Невский — закусочная Смурова. В бельэтаже — Английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском напротив — «Цветы из Ниццы», даже зимой. Наискось от сигар — «Дациаро: поставщик всего нужного для художеств». Над ним «Генрих Циммерман» (для музыкантов). Посредине, возле окон второго этажа, над улицей на чугунном укрепе «Павел Буре» — часы, показывавшие точное время.

...До чего же привлекательны для детей обычаи, традиции! На вербную неделю в Петербург приезжали финны катать детей в своих крестьянских санках. И лошади были хуже великолепных петербургских извозчичьих лошадей, и санки были беднее, но дети их очень любили. Ведь только раз в году можно покататься на «вейке»! «Вейка» по-фински значит «брат», «братишка». Сперва это было обращение к финским извозчикам (кстати, им разрешалось приезжать на заработки только в вербную неделю), а потом сделалось названием финского извозчика с его упряжкой вообще.

Дети любили именно победнее, но с лентами и бубенцами — лишь бы «поигрушечнее».

Куоккала

Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалованья. Весной мы рано уезжали на дачу, от-

казываясь от квартиры и нанимая ее в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья экономила деньги.

Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция — преимущественно артистическая.

Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство — о Куоккале (теперь Репино).

В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Гренхагена о Куоккале сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом. от СПб). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж.-д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж.-д. станции. Многие из них также заняты зимой. Имеется православная церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция 1905 года. — *Д. Л.*) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) «фабрики бомб» финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».

О Куоккале, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил (по телевидению в фильме о К. И. Чуковском «Огневой вы человек»). Здесь жила летом малобогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков). На самом берегу против Куоккальской бухты

была дача Пýни. Владелец ее Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие — Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции и до конца жизни любил писать пляжи, напоминавшие ему о его счастливом детстве.

Папу встречаем.

Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность — к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография — я на море по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).

Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой «человечек»: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище — это котел. Большая голова — труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) — это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.

Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как пароходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны — синие, зеленые, красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны — первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал.

Часть дачников и зимогоры были художниками:

Пуни, Анненковы, Репины и пр. Почему-то они представлялись мне другой породы — итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротой ветра, а если пассижиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное — скорость.

На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские Пенаты. Между Пенатами и дачами Анненковых и Пуни построил себе дачу К. И. Чуковский (помог ему в этом — и деньгами, и советами — И. Е. Репин). На мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин, приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин, Стасов и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге — главной улице Куоккалы и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому укатанному волнами песку, либо по бетонной дорожке, которая шла в глубине пляжа около заборов выходивших к морю дач. На пляже было огромное количество деревянных будок, где можно было переодеться.

В хорошую погоду мы почти не уходили с пляжа. Брали с собой завтраки и бутылки с молоком, которые зарывали в тени за будками в сырой песок, чтобы молоко не скисло от тепла.

Куоккальские дачи имели заборы: всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские возки: «Молоко, метана, ливки» (финны не произносили двух согласных впереди слова: только вторую согласную). Разносчики часто бывали ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять!..» и еще что-то третье, что — я уже забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.

Если погода безветренная, особенно утром — в предвестии жары, то, прислушавшись, на берегу можно

было слышать басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. И в определенный час, пока пляж еще не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакий.

А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных при игре, но всегда точно приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и до сих пор, и до сих пор я ее очень люблю.

Но море становилось торжественным и значительным, когда еле слышно через воду долетал звук тяжкого колокола Исаакия. С тех пор я знаю — что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.

Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!

Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, пропуская обеденное время. Игрушки, весла, спасательные пояса, зонты, купальные костюмы — все это хранилось в будках, стоявших на берегу — иногда в два и даже в три ряда. У каждой дачной семьи была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостки были и частные, и общественные — за деньги.

По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это значило — было благотворительное представление. Представления были и в куоккальском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть — начинал с «Ойры», любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили записать — в какой день прийти, играть танцы на дне рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи.

В дни рождения или именины детей иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал

фейерверки и просто костры без всякого повода. Он любил огонь. Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под Городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач. Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки — в пользу туберкулезных, во время первой мировой войны — в пользу раненых).

Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу». И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаще ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда. «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила компаниями на велосипедах.

Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.

И какие только национальности ни жили в Куоккале: русские, финны-крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры), петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни — с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот.

На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были и «серьезные» спектакли. Репин читал свои воспомина-

ния. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина учила травоедению.

Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающимися взлетал очень высоко — почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали. Церковь была общественным местом, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни — Штерн. Он был немцем, но в начале первой мировой войны переменил фамилию, стал Астровым, принял православие. С Мишей Штерном я дружил.

Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году поднялись и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося брюки в своем саду. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели — те все выдумывали себе каждый свои костюмы: Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Стасов по-своему, Маяковский по-своему... Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале (теперь Приморское шоссе), они либо жили в Куоккале, либо приезжали в Куоккалу.

Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими...

Свой куоккальский озорной характер К. И. Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил К. И. Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Воз-

вращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по старинному — Ужском) было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю».

Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук — точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Было видно, как буксиры везли мимо фортов барки с щитами, по которым и шла учебная стрельба.

Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет — разумеется, талантливых озорников. Я в детстве жил в Куоккале недалеко от Пенат Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину (кстати, Кульбин както лечил меня, когда я заболел). С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали в одежде, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками. Недавно Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре. О Куоккале как о родине европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н. А. Заболоцкого. Я и до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство — в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.

Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» — беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цó то бéндзе» («что-то будет»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! Цо то бендзе — и для вас, и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.

И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквах, разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!

Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться под «парусом» вполне домашнему мальчику — внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила только — не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Ветер, тихий, как всегда, у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств. А на берегу за загородкой из простынь загорал проректор Петербургского университета — красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, о ужас! — в одних трусах. Он поднял бабушку с фиоле-

товыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?» Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет». Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда что-либо внезапно случалось неприятное.

А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел — то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буковками «С. Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.

Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель» — а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией.

Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды в особенно сильную бурю кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор, не люблю обманчивого берегового ветра.

Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.

И опять «связь времен». Дачевладелец серб А. Шайкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.

Крым

Огромную роль в эстетическом воспитании нашей семьи сыграло пребывание на юге. Отец год работал в Одессе (1911 — 1912), и два лета мы провели в Крыму, в Мисхоре. Мне вспоминается запах разогретого на солнце самшита, вид от Байдарских ворот, где помещался тогда монастырь, Алупкинский парк и дворец, купания в Мисхоре среди камней (впоследствии по фотографиям я установил, что это было как раз то место, где перед тем купался после болезни Лев Толстой, спускаясь сюда из имения графини Паниной в Гаспре). Особенно эмоционально воспринималась мною маленькая полянка над морем с необыкновенно душистыми цветами. Полянку эту все называли «Батарейка», и туда чаще всего мы ходили гулять. Во время Крымской войны там размещалась небольшая батарея. Здесь для меня все было слито: чувство природы и чувство истории. Последнее появилось у меня в возрасте 5 — 6 лет — и прежде всего на памятниках Севастопольской обороны, по которым я любил лазать, и на Малаховом кургане, где я воображал себя артиллеристом у стоявших среди укреплений орудий; поражение русских войск воспринималось мною уже тогда как личное горе.

Месяцы, проведенные в Крыму, в Мисхоре, в 1911 и в 1912 годах, запомнились мне как самые счастливые в моей жизни. Крым был другой. Он был каким-то «своим Востоком», Востоком идеальным. Красивые крымские татары в национальных нарядах предлагали верховых лошадей для прогулок в горы. С минаретов раздавались унылые призывы муэдзинов. Особенно красив был белый минарет в Кореизе на фоне горы Ай-Петри. А татарские деревни, виноградники, маленькие ресторанчики! А жилой Бахчисарай и романтический Чуфут-Кале! В любые парки можно было заходить для прогулок, а дав «на чай» лакеям, осматривать в отсутствие хозяев алупкинский дворец Воронцовых, дворец Паниной в Гаспре, дворец Юсуповых в Мисхоре. Никаких особых запретов в отсутствие хозяев не существовало, а так как хозяева почти всегда отсутствовали, то парадные комнаты (кроме сугубо личных) были доступны.

Береговая полоса не могла находиться в частной собственности. От Мисхора по берегу шла бетонированная дорожка до Ливадии, по которой мы всей семьей гуляли по вечерам за маяк Ай-Тодор. Никаких частновладельческих пляжей! По берегу нельзя было пройти только от Мисхора до Алупки, из-за скал. Но по высокой части шла прекрасная дорога. Все эти прогулки сохранились в моей памяти благодаря отличным фотографиям отца. Теперь многого уже нет, нет и чудесной дорожки по берегу от Алупки. «Царская тропа» к Ореанде тоже укоротилась и изменила свой вид.

В 60-е годы мы ездили в Дом творчества, в Ялту. После уже не захотелось ехать туда во второй раз — разрушать тот «маленький рай», который еще существовал в моей памяти.

Когда эта заметка была уже написана, я прочитал статью Т. Братковой «Город Солнца» («Дружба народов», 1987, № 6). Ее надо прочесть и не забывать: она нужна всем, кто любит Крым.

Может быть, с тех пор у меня начала укрепляться любовь к различным «музеям под открытым небом» — будь то знаменитый памятник — «пушка» в Одессе, усадьбы-музеи, «петровские домики» в Петербурге, да и просто маленькие лирические памятники вроде памятника Жуковскому в Петербурге в Александровском саду, где я чаще всего гулял до «вечернего колокольчика» сторожа, когда сад запирался на ночь, или небольших памятников Петру, которых было несколько в Петербурге: например, Петр, мастерящий лодку, — на набережной у Адмиралтейства. Уже тогда в Крыму меня поразили старые деревья в Никитском саду, а в Петербурге во время неизменных праздничных прогулок на Острова я благоговейно смотрел на Петровский дуб, огороженный скромной решеткой. Стоя перед этим дубом, я шептал ему свои заветные желания: например, получить в подарок еще одну лучиночную коробочку с оловянными солдатиками или «настоящую» паровую машину, паровозик, который видел у приятеля. Странно — желания мои исполнялись, и я приписывал исполнение их не внимательности родителей, которые, конечно, о них догадывались, но доброму и всесильному дубу. Язычество проснулось у меня вместе с чувством истории очень рано.

По Волге в 1914 году

В мае 1914 года мы ездили по Волге — от Рыбинска до Саратова и обратно. Мои родители, старший брат Михаил и я. До Рыбинска от Петербурга — поездом. Как ехали поездом — не помню. Смутные впечатления сохранились только от вокзала в Петербурге. Скорее всего — это был Николаевский (теперь Московский). Там, где прибывали и отходили поезда, в крытой части вокзала, и где обрывались рельсы, всегда помещалась икона. Отъезжающие молились перед ней. Жарко горели десятки свечей.

Был май месяц. Утром Рыбинск встретил нас дождем и холодом. Мы направились в магазин купить мне длинные чулки, на которые мне надо было сменить мои носочки. Разумеется (дети всегда одинаковы!), мне этого очень не хотелось. Весной надо было быть одетым как можно более легко: таково было мальчишеское франтовство. А тут еще оскорбление в магазине. Приказчица-девушка, которая взялась мне примерить чулки, обратилась ко мне со словами: «Барышня, дайте мне вашу ножку!» Меня приняли за девочку! Ужас!

В те времена на Волге лучшими пароходными компаниями считались две: «Самолет» (розовые красавцы теплоходы, с двумя красными полосами на трубе и полукруглым зеркальным стеклом спереди в ресторане) и «Кавказ и Меркурий» (белые суда). Суда «Самолета» ходили от Нижнего до Астрахани. До Нижнего надо было добираться на колесных «кашинских». А суда общества «Кавказ и Меркурий» шли от самого Рыбинска. Мы взяли каюту на одном из судов «Кавказ и Меркурий». На Волге погода потеплела, и мы в первый же день обедали на носу парохода на воздухе. До сих пор помню вкус хлеба и свежих весенних огурцов. Замечали ли вы, что еда на воздухе имеет другой вкус? Гораздо лучший.

Волга тогда была другая, чем сейчас. Я уже не говорю о том, что она была без «морей» и разливов, без плотин и шлюзов. На ней было множество мелких судов разных типов. Буксиры тянули канатами караваны барок. Сплавляли лес плотами. На плотах ставили шатры и даже маленькие домики для плотогонов. Ве-

чером ярко горели костры, на которых плотогоны готовили пищу и у которых сушили выстиранную одежду. Раза два-три встретились красавицы беляны. Беляны назывались так потому, что они были некрашеные. Бель — это некрашеное дерево. Эти огромные высокие барки плыли по течению, управлялись длинными веслами. По прибытии в нижнее безлесное течение Волги их разбирали на строительный материал. И строились беляны в верховьях Волги так, чтобы не портить бревна и доски.

Волга была наполнена звуками: гудели, приветствуя друг друга, пароходы. Капитаны кричали в рупоры, иногда — просто чтобы передать новости. Грузчики пели.

Существовали специально волжские анекдоты, где главную роль играли голоса кричавших друг другу с больших расстояний людей, плохо и по-своему понимавших друг друга. Но были и детские байки, и звукоподражания. Помню такое «звукоподражание» перекликающимся друг с другом петухам. Первый петух кричит: «В Костроме был». Второй спрашивает: «Каково там?» Первый отвечает: «Побывай сам». Этот «диалог» довольно хорошо передавал по интонации петушиную перекличку.

А вот сцена, которую я сам наблюдал. Была она в духе Островского. Сел к нам на пароход богатый купец, не устававший хвастаться своим богатством. Встречающиеся плоты он приветствовал, приложив ко рту ладони рупором: «Чьи плоты-те?» С плотов ему непременно отвечали: «Панфилова». Тогда купчишка с гордостью оборачивался к стоявшей на палубе публике и с важностью говорил: «Плоты-те наши!»

Была и такая сцена. По Волге обычно плавал бывший борец Фосс. Был он огромного роста и необыкновенной толщины. Говорили, что он под рубашку подвязывал себе подушку, чтобы казаться еще толще. Хвастался он дружбой с кем-то из великих князей и поэтому считал себя вправе ни за что не платить. Во время обедов он съедал множество всего. Волжские пароходы славились тогда великолепной кухней, особенно рыбной (стерляди, осетрина, икра паюсная, зернистая, ястычная и пр.).

Фосс сел к нам на пароход вечером в Нижнем. Пас-

сажиры встревожились: будет скандал. А шутники пугали: «Съест все, и ресторан закроют». Капитан знал, однако, как бороться с Фоссом. Отказать Фоссу заказывать блюда было нельзя. Капитан шел на расход. Но когда Фосс отказался платить, ему предложили сойти с парохода. Фосс упрямился. Тогда собрали всех матросов, и они, подпирая Фосса с обоих боков, выдавили его. Мы с верхней палубы следили за тем, как выставляли Фосса. Он долго стоял на пристани и сыпал угрозами.

Много пели. Песни слышались с берега. Пели и на нижней палубе, в третьем классе: пели частушки и плясали. Мать не вынесла, когда плясала беременная женщина, и ушла. Вдогонку беременная плясунья спела нам частушку об инженерах (отец неизменно носил инженерскую фуражку).

На пристанях грузчики («крючники») помогали своему тяжелому труду возгласами и пением. Помню, ночью тащили из трюма (пароход был грузопассажирский) какую-то тяжелую вещь; грузчики дружно в такт кричали: «А вот пойдет, а вот пойдет!» Когда вещь сдвинулась, дружно кричали: «А вот пошла, а вот пошла, пошла, пошла!» Этот ночной крик хорошо запомнился мне.

На каждой остановке у пристани собирался маленький базар. Капитан говорил, где и что покупать — где ягоды, где корзины, где икру, где палочки-тросточки. Палочки мы с братом жадно выбирали. Брат купил себе палочку с рукояткой в виде головы турка, а я — с птичкой. Эти палочки долго у нас хранились. Не то эти покупки тросточек были в Кинешме, не то в Плёсе. Помню точно, что берег был очень зеленый, лесистый и круто поднимался вверх.

В Троицу капитан остановил наш пароход (хоть и был он дизельный, но слова «теплоход» еще не было) прямо у зеленого луга. На возвышенности стояла деревенская церковь. Внутри она вся была украшена березками, пол усыпан травой и полевыми цветами. Традиционное церковное пение деревенским хором было необыкновенным. Волга производила впечатление своей песенностью: огромное пространство реки было полно всем, что плавает, гудит, поет, выкрикивает. В городах пахло рыбой, разного рода снедью, лошадьми, даже

пыль пахла ванилью. Люди ходили, громко разговаривая или перебраниваясь, торговцы выкликали свои товары, заманивали покупателей. Мальчишки — продавцы газет выкликали их названия, а иногда и заголовки статей, сообщения о происшествиях. На рынках встречались персы, кавказцы, татары, калмыки, чуваши, мордвины — все одетые по-своему, говорившие на своих языках. В Сарепте и Саратове слышалась немецкая речь.

В Саратове мы пересели на обратный пароход той же компании «Кавказ и Меркурий», которую мы, мальчишки, дружно стали считать лучше бледно-розового пароходства «Самолет».

Как возвращались поездом, не помню. Помню только, что обратный пароход назывался «1812 год» и встретился нам «Кутузов». Это было на 101-й год после Бородинской битвы.

От прежнего остаются картины, своеобразные фотографические снимки. От путешествия по Волге я яснее всего помню одну. Мы сидим с дочкой капитана на ковре в капитанской каюте и играем во что-то скучное (дочка моложе меня, да она и девочка, а я не умею играть в куклы). От палубы нас отделяет решетка от потолка до полу. Родители кричат мне: «Посмотри — Жигули! Соловьи поют». Я вижу через решетку высокий лесистый берег и слышу щелканье соловьев, но мне неловко не играть с дочкой капитана. Я долго потом жалел, что плохо видел и плохо слушал соловьев. Это ощущение упущенной возможности сохранилось и до сих пор. Но, может быть, в этом случае мое сознание не «сфотографировало» бы этот вид на Жигули через решетку?

И все же я могу сказать про себя с гордостью: «Я видел Волгу».

Гимназия Человеколюбивого общества

Осенью 1914 года я поступил в школу — в гимназию Человеколюбивого общества, ту самую, в которой одно время учился А. Н. Бенуа. Она находилась на Крюковом канале, против колокольни Чевакинского, недалеко от дома Бенуа — того самого, от которого отходила конка в Коломну. На этой конке я любил ездить

со своей нянькой, забравшись на империал. Какой волшебный вид на город открывался с империала!

Учиться я поступил восьми лет и сразу в старший приготовительный класс. Родители выбирали не школу, а классного наставника. И он в этом старшем приготовительном классе был действительно замечательным. Капитон Владимирович! Он был строг, представителен, умен и отечески добр, когда это было можно. Это был Воспитатель с большой буквы. Ученики его уважали и любили. Ученики! Но они были совсем другими, и у меня с ними сразу пошли конфликты. Я был новичок, а они уже учились второй год, и многие перешли из городского училища. Они были «опытными» школьниками. Однажды они на меня накинулись с кулачками. Я прислонился к стене и, как мог, отбивался от них. Внезапно они отступили. Я почувствовал себя победителем и стал на них наступать. Но я не видел инспектора, которого заметили они. В результате в дневнике у меня появилась запись: «Бил кулаками товарищей. Инспектор Мамай». Как я был поражен этой несправедливостью! В другой раз они, бросая в меня на улице снежками, подвели к маленькому оконцу, из которого за поведением учеников наблюдал все тот же инспектор Мамай. В дневнике появилась вторая запись: «Шалил на улице. Инспектор Мамай». И родителей вызвали к директору.

Как я не хотел ходить в школу! По вечерам, становясь на колени, чтобы повторять вслед за матерью слова молитв, я еще прибавлял от себя, утыкаясь в подушку: «Боженька, сделай так, чтобы я заболел». И я заболел: у меня стала подниматься каждый день температура — на две-три десятых градуса выше 37. Меня взяли из школы, а чтобы не пропустить год, наняли репетитора. Это была польская школьница-беженка (была зима 1915 года). Маленькая, худенькая. И нанималась она заниматься со мной за плату вместе с обедом. За обеденным столом она казалась совсем маленькой, и отец из жалости к ней подпилил ножки обеденного стола. Потом этот обеденный стол всегда приходилось ставить на подножки от рояли, чтобы вернуть ему прежнюю высоту. От этой польской девочки я получил еще один урок национального воспитания. Рассказывая мне русскую историю, она увлеклась и стала говорить

про польскую историю, а я взял да и выпалил ей в лицо: «Никакой польской истории нет». Я, очевидно, спутал историю с учебником истории. Учебника истории Польши действительно на русском языке не было. Но польская школьница стала мне возражать и вдруг заплакала. Этих слез мне и сейчас стыдно...

Гимназия и реальное училище К. И. Мая

В 1915 году я поступил в гимназию и реальное училище К. И. Мая на 14-й линии Васильевского острова. К этому времени мой отец получил в заведование электрическую станцию при Главном управлении почт и телеграфов и казенную квартиру при этой станции. День и ночь квартира наша содрогалась от действия паровой машины. Сейчас этой станции и в помине нет. Двор пуст, нет и нашей квартиры. Но тогда посещение станции доставляло мне большое удовольствие. Громадное колесо вращалось поршнем, оно блестело от масла, было необычайно красивым. В училище Мая мне надо было ездить на трамвае, но пробиться в трамвай было чрезвычайно трудно: площадки были забиты солдатами («нижними чинами», как их называли). Им разрешалось ездить бесплатно, но только на площадках вагонов. Жили мы рядом с Конногвардейским бульваром, и я наслаждался тогда вербными базарами, где можно было потолкаться около букинистических ларьков, купить народные игрушки и игрушки специально вербные (вроде «американских жителей», чертей на булавках для прикалывания к пальто, акробатов на трапециях, «тещиных языков» и проч.) и полакомиться вербными кушаньями.

Вербная неделя была лучшей неделей для детей в старом Петрограде, и именно здесь можно было почувствовать народное веселье и красоту народного искусства, привозимого сюда из всего Заонежья.

Ведь Петербург-Петроград не только стоял лицом к Европе, что ощущалось прежде всего в его пестром населении (немцы, французы, англичане, шведы, финны, эстонцы наполняли собой и школу К. И. Мая), но за его спиной находился весь Русский Север с его фольклором, народным искусством, народной архитекту-

рой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду и проч., и проч.

О гимназии и реальном училище К. И. Мая написано много. Есть специальные юбилейные издания, много написано в «Воспоминаниях» А. Н. Бенуа, изданных в серии «Литературные памятники», есть и статья в журнале «Нева» (1983, № 1, с. 142—195). Не буду повторять всего хорошего, что о ней уже сообщалось; отмечу только, что школа эта сыграла большую роль в моей жизни. Я чувствовал себя там прекрасно и, если бы не трудности дороги, не мог бы и желать лучшего.

Я взрослел и был как раз в таком возрасте, когда особенно тяжело переживаются военные неудачи. Обсуждение военных неудач и всех возмутительных неурядиц в правительстве и в русской армии занимали изрядное место в вечерних семейных разговорах, тем более что все происходившее было как будто тут же, рядом. Распутин появлялся в ресторанах и домах, которые я видел, мимо которых гулял, солдат обучали совсем рядом, на любой свободной площади, спектакли начинались с томительного исполнения всех гимнов союзных России держав, и прежде всего с бельгийского гимна «Барбансон». Национальное чувство и ущемлялось, и подогревалось. Я жил известиями с «театра военных действий», слухами, надеждами и опасениями.

Школа К. И. Мая наложила сильный отпечаток и на мои интересы, и на мой жизненный, я бы сказал мировоззренческий, опыт. Класс был разношерстный, учился и внук Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын швейцара. Преподаватели тоже были разные. Преподаватель Михаил Григорьевич Горохов обучал нас два года перспективе почти как точной науке; преподаватель географии изумительно рассказывал о своих путешествиях и по России, и за границей, демонстрируя диапозитивы; библиотекарь умела порекомендовать каждому свое. Я вспоминаю те несколько лет, которые я провел у Мая, с великой благодарностью. Даже почтенный швейцар, который приветствовал нас по-немецки, а прощался по-итальянски, учил нас вежливости собственным примером — как много все это значило для нас, мальчиков.

Учителя не заставляли нас выдавать «зачинщиков» шалостей, разрешали на переменах играть в шумные

игры и возиться. На уроках гимнастики мы главным образом играли в активные игры — такие, как лапта, горелки, хэндбол (ручной мяч). На школьные каникулы выезжали всей школой в какое-то имение на станцию Струги Белые по дороге на Псков. Мы выпускали разные классные журналы и даже писали и размножали собственные сочинения в духе повестей Буссенара и Луи Жаколио без преподавательского надзора.

Школа Лентовской

Первое время после переезда в казенную квартиру на Петроградской стороне (Гатчинская, 16, или Лахтинская, 9) я продолжал учиться у Мая. В ней я пережил самые первые реформы школы, переход к трудовому воспитанию (уроки столярного искусства сменились пилкой дров для отопления школы), к совместному обучению мальчиков и девочек (к нам в школу перевели девочек из соседней школы Шаффе) и т. д. Но ездить в школу в переполненных трамваях стало совершенно невозможно, ходить — еще труднее, так как затруднения в тогдашнем Петрограде с едой были ужасными. Мы ели дуранду (спрессованные жмыхи), хлеб из овса с кострицей, иногда удавалось достать немного мороженой картошки, за молоком ходили пешком на Лахту и получали его в обмен на вещи. Меня перевели поблизости в школу имени Лентовской на Плуталовой улице. И снова я попал в замечательное училище. Сравнительно со школой Мая «Лентовка» была бедна оборудованием и помещениями, но была поразительна по преподавательскому составу. Школа образовалась после революции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казенных гимназий за революционную деятельность. Их собрала театральный антрепренер Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей левонастроенные интеллигенты. У директора (Владимира Кирилловича Иванова) в директорском его кабинете была библиотечка революционной марксистской литературы, из которой он секретно давал читать книги заслуживающим доверия ученикам старших классов.

Между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, «общее дело». Учителям не надо

было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося и озорство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался.

Об одном из преподавателей этой школы, Леониде Владимировиче Георге, я написал отдельный очерк. Но мог бы написать и о многих других...

Один летний месяц имел огромное значение для формирования моей личности, моих интересов и, я бы сказал, моей любви к Русскому Северу: школьная экскурсия в 1921 году на север — по Мурманской железной дороге в Мурманск, далее на паровой яхте в Архангельск вокруг Кольского полуострова по Белому морю, на пароходе по Северной Двине до Котласа и оттуда по железной дороге в Петроград. Двухнедельная эта школьная экскурсия сыграла огромную роль в формировании моих представлений о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы. Путешествовать нужно по родной стране как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают и добрые отношения с учителями, вспоминаются потом все жизнь. В школе я наловчился рисовать карикатуры на учителей: просто — одной-двумя линиями. И однажды на перемене нарисовал всех на классной доске. И вдруг вошел преподаватель. Я обмер. Но преподаватель подошел, посмеялся вместе с нами (а на доске был изображен и он сам) и ушел, ничего не сказав. А через два-три урока пришел в класс наш классный наставник и сказал: «Дима Лихачев, директор просит вас повторить все ваши карикатуры на бумаге для нашей учительской комнаты».

Были у нас умные педагоги.

В школе Лентовской поощрялось собственное мнение учеников. В классе часто шли споры. С тех пор я стремлюсь сохранять в себе свою самостоятельность во вкусах и взглядах.

В разные годы, в разных условиях мне нравятся совершенно различные произведения западных литератур. То тянет перечитать Диккенса, то Джойса, то Пруста, то Шекспира, то Норвида... Мне легче перечи-

слить тех авторов, которых мне не хочется перечитывать. А вообще-то я очень жаден к перечитыванию. А ведь я не перечислил еще философов, которых люблю и мнения которых я могу даже, как бы играя, временно и с удовольствием разделять. Ведь философские теории и мироощущения имеют для меня еще и эстетическую ценность. Философы — художники, и мы не должны закрываться от них ширмами собственных взглядов. Впрочем, вопрос этот очень сложный — как воспринимать философские концепции. Возражая и «отругиваясь», мы многого себя лишаем.

Университет

Наиболее важный и в то же время наиболее трудный период в формировании моих научных интересов — конечно, университетский.

Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в университет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, а — обыкновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей перестройки. Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин — известный болгарист и будущий академик.

Появились профессора «красные» и просто профессора. Впрочем, профессоров вообще не было — звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Оппоненты заключали свои выступления так: «Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение...» Защита называлась диспутом. Особенно хорошо я помню защиту в такой условной форме, но в очень торжественной обстановке в актовом зале университета — Виктора Максимовича Жирмунского. Ему также условно была присуждена степень доктора, но не условно аплодировали

и подносили цветы. Темой диспута была его книга «Пушкин и Байрон».

Также условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» — по признаку — кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные» знали меньше, но обращались к студентам «товарищи»; старые профессора знали больше, но говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен.

Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было немного. Просто их много казалось от непривычки: ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были «вечные студенты» — учившиеся и работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках (к таким принадлежали учившиеся со мной И. И. Соллертинский, И. А. Лихачев (будущий переводчик), П. Лукницкий (будущий писатель), да и многие другие).

На факультете были отделения. Было ОПО — общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, — здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.

Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых надо было немало. Зато процветали различные курсы на частные темы — «спецкурсы», по современной терминологии. Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два

раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов вечера, затягивались до двенадцатого часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX в. и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру, слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН СССР Д. И. Абрамовича, принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова; англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова, слушал введение в философию и занимался логикой у А. И. Введенского, психологией у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковнославянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других. Посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения, пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло), посещал концерты симфонического оркестра в Филармонии, но путешествовал мало: не позволяло здоровье, условия для поездок по стране после гражданской войны были трудные, родители снимали на лето дачу, и надо было ею пользоваться. Мы часто ездили на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест (здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал). Все кругом было интересно до чрезвычайности, а если вспомнить и о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на Печатном Дворе, библиотекой университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, где по совместительству работал отец, то единственное, в чем я испытывал острый недостаток, — это во времени.

Ленинградский университет в 20-е годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был

Институт истории искусств (Зубовский институт), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII — самом начале XIX в., другую — о повестях о патриархе Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подрядился составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде (Фонтанка, дом № 20), возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости. Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождение на диспуты и лекции (в городе была тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч — начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где выступали Есенин, Чуковский, прозаики, актеры и т. д., посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей — особенно из музыкального мира, — все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не все удалось посетить.

Но из занятий в университете больше всего давали мне не «общие курсы» (они почти и не читались), а се-

минарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.

Во-первых, занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского, которые он, по иронии судьбы, вел в помещении бывших Женских бестужевских курсов. По иронии судьбы — ибо женщин он открыто не признавал способными к логике. В те годы, когда логика входила в число обязательных предметов, он ставил студенткам «зачет», подчеркнуто не спрашивая их, изредка отпуская только иронические замечания по поводу женского ума. Но занятия свои он вел артистически, и студентки, хотя и в малом числе, на них присутствовали. Когда лекции и занятия А. И. Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню — из числа участников гражданской войны, организовал группу по занятию логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: языки надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.

Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии XIX в. у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта, Байрона, анализируя их стиль и содержание. В. М. Жирмунский обрушивал на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне — и с биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги», церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали и на семинарских занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Алек-

сандра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у Семена Карловича Боянуса.

Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л. В. Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», углубленному филологическому пониманию текста. Иному — занятиям в рукописных отделениях и библиотеках — учил нас милый В. Е. Евгеньев-Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда же и проверял — как мы работаем, все ли у нас благополучно. А однажды он возил меня с собой и к коллекционеру Кортавову в Новую Деревню. Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил нас не «бояться архивов». Боязнь архивов В. Е. Евгеньев-Максимов считал своего рода детской болезнью начинающего ученого, от которой он должен избавиться как можно быстрее.

Увлекали меня и лекции Е. Тарле. Но лекции эти учили главным образом ораторскому, лекционному искусству. Часто впоследствии, когда я в сороковых годах начинал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарле, якобы подыскивая подходящее слово, как потом «стрелял» в нас этим найденным словом, поражавшим своею точностью и запоминавшимся на всю жизнь. Я вспоминал и о том, как Е. Тарле «думал», читая свои лекции, как неуклюже, по-медвежьи, топтался возле кафедры, «подыскивая» факты, «вспоминая» документы, создавая полную иллюзию блестящей импровизации.

К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее мало изученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской литературе. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох вроде тех, что имелись на Западе — особенно в культурологических работах Эмиля Маля.

Мое время — это не только расцвет литературы (не скажу «ленинградской», ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и т. д.), но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых — литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, — какое представляли собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда — как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было и временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой — писать для детей по русскому языку). Но зато упорно занимался у В. М. Жирмунского, А. А. Смирнова, логикой — у А. И. Введенского и С. П. Поварнина, слушал Н. О. Лосского. Занимался у Л. В. Щербы и В. В. Виноградова и многих других. Так что кое-какие возможности я все же не упустил.

Издательство Академии наук СССР

30-е годы были для меня тяжелыми годами. Осенью 1932 года * я поступил работать литературным редактором в Соцэкгиз, помещавшийся на Невском в Доме книги. Не успел я немного освоиться с работой, как у меня начались жесточайшие язвенные боли. Я не обращал на них внимание, не соблюдал диету, продолжал ходить на работу. В трамвае мне стало однажды дурно, приняли за пьяного, стали упрекать: такой молодой и уже с утра пьян. Кое-как я доехал до Дома книги, поднялся, сел за свой письменный стол и потерял сознание. У меня хлынула горлом черная кровь. В полубессознательном состоянии меня доставили в Куйбышевскую больницу. В приемный покой вызвали родителей и сказали им прямо: потеря крови чрезвычайно

* В 1932 году Д. С. Лихачев вернулся из заключения, где пробыл четыре с половиной года. — *Прим. ред.*

большая, и надежды почти нет. Но меня спас хирург Абрамзон (в блокаду его разорвало на мелкие части снарядом), который тогда стал делать первые опыты переливания крови. Донор стояла со мной рядом, и кровь непосредственно от нее текла мне в вену, которую раскрыли на сгибе правой руки. Помню это как во сне. Помню полублаженное состояние: ничего не хотелось, не было страха смерти, прошли боли. Я пролежал в больнице несколько месяцев, затем лежал в Институте питания (был такой в Ленинграде) и занимался беспорядочным чтением. Чтение, чтение и чтение. Потом снова пошли поиски работы. Я устроился работать в типографию «Коминтерн» корректором по иностранным языкам. Боли возобновились, придя домой, я валился на постель и заглушал боль чтением. Недостатка в книгах не было. Труд корректоров, считавшийся тогда тяжелым, ограничивался шестью часами. В пять часов я был уже дома и в постели. Благодаря связям отца в типографиях и возможности получать книги из превосходной библиотеки Дома книги чтение мое приобрело более систематический характер. Я читал книги по искусству, по истории культуры. Иногда посещал библиотеку сам.

Когда в 1934 году я был переведен на работу в Издательство Академии наук СССР, я получил возможность брать книги из библиотеки Академии наук. Утомление от корректорского чтения и от вычитки рукописей не мешало мне в моем чтении дома в кровати. Я был вполне доволен своей судьбой. Делал выписки, размышлял и ни с кем почти не общался. Единственным моим другом был мой однокашник по университету М.И. Стеблин-Каменский. В отличие от меня ему не удалось окончить университет, и он сдавал все предметы экстерном, работая в том же издательстве техническим редактором. Среди «ученых корректоров» издательства было много пожилых людей «из бывших». Два бывших барона, лицеист, правовед, странный старичок старообрядец, оказавшийся моим дальним родственником по матери, и два замечательных по своей общей культуре человека — А. В. Суслов и Л. А. Федоров. Общение с ними было великой школой. Как важно выбирать своих знакомых, и главным образом среди людей выше тебя по культурному уровню!

Четырехлетняя работа «ученым корректором» в Ленинградском отделении Издательства Академии наук не осталась без пользы. Работа эта создала у меня интерес к проблемам текстологии, и в частности текстологии печатных изданий. Я участвовал вместе с техническим редактором Львом Александровичем Федоровым (умер от истощения во время блокады) и будущим известным скандинавистом М. И. Стеблиным-Каменским в создании справочника-инструкции для корректоров Академии наук. Справочник этот вышел ограниченным тиражом в конце 30-х годов. Вообще моя работа в издательстве по многим пунктам соприкасалась с моим «типографским прошлым». Создание книг меня интересовало чрезвычайно. Я собирал случайно попадавшиеся книги по издательскому и типографскому делу, по художественному оформлению книг — особенно обложек (я их предпочитал жестким и грубым переплетам). Продолжалось и общение с типографскими работниками, в частности с замечательным коллекционером книг советского периода И. Г. Галактионовым (куда-то делась его библиотека? Неужели после его смерти она была распродана по частям?).

Ю. Г. Оксман как-то напомнил мне, что он предлагал мне перейти в Пушкинский Дом, где он был заместителем директора, но я категорически отказался. И в самом деле, в издательстве мне было хорошо, и если бы не маленькие заработки, то и совсем хорошо. Здесь царила атмосфера общего труда, а во главе стоял М. В. Валерианов — бывший метранпаж Печатного Двора (метранпажи — это были наборщики высшей квалификации, одновременно выполнявшие обязанности технических редакторов и умевшие прекрасно делать титульные листы только средствами набора — искусство, ныне утраченное). М. В. Валерианов заботился о деле, а потому и о людях. Он был умен и интеллигентен от природы. Вечная ему память.

В 1937 году я редактировал и корректировал «Обозрение русских летописных сводов» А. А. Шахматова, которое издавала В. П. Адрианова-Перетц. Я увлекся работой по летописанию, проверкой всех данных шахматовской рукописи и в конце концов попросил Адрианову-Перетц дать мне работу в Отделе древнерусской литературы Института русской литературы

(Пушкинский Дом) АН СССР. Перевод быстро осуществился, и я с этого момента стал специалистом по древнерусской литературе.

В 30-е годы я был погружен в свое корректорское дело (сперва в типографиях, а потом в Издательстве Академии наук СССР), и литературные события проходили мимо меня.

Попытки писать

В моем школьном образовании был один очень существенный недостаток: мы не писали классных работ и не делали домашних заданий (впрочем, домашние письменные работы все же иногда выполняли, но задавали их редко). Классные работы писать было нельзя. В годы моих последних классов зимой школа не отапливалась, мы сидели в пальто, в варежках сверх перчаток, и учителя время от времени заставляли нас согреваться. Мы вставали, по-кучерски взмахивали руками и били в ладоши. Наступало оживление. А домашние задания тоже было делать трудно, да и проверять их учителям было тяжело. Вечерами преподаватели не сидели дома — прирабатывали лекциями, за которые платилось иногда провизией.

В общем, когда я появился в университете, я с трудом мог в письменной форме изложить свои мысли. Хотя я и написал две дипломные работы — одну о Шекспире в России в конце XVIII века, а другую о повестях о Никоне, — но они были изложены детским языком, беспомощны по композиции. Особенно не удавались мне переходы от предложения к предложению. Было такое впечатление, что каждое предложение жило самостоятельно. Логическое повествование не складывалось. Фразу трудно было прочесть вслух: она была «непроизносима».

И вот сразу же по окончании университета я решил учиться писать и систему придумал сам. Учил ей и своего друга — Дмитрия Павловича Каллистова.

Во-первых, чтобы язык мой был богатым, я читал книги, с моей точки зрения хорошо написанные, написанные хорошей прозой — научной, искусствоведческой. Я читал М. Алпатова, Дживилегова, Муратова, И. Грабаря, Н. Н. Врангеля (путеводитель по Русскому

музею), Курбатова и делал из их книг выписки — главным образом фразеологические обороты, отдельные слова, выражения, образы и т.д.

Во-вторых, я решил писать каждый день, как классные сочинения, и писать особым образом. Этот особый образ я назвал «без отрыва пера от бумаги», то есть не останавливаясь. Я решил (и решил правильно), что главный источник богатой письменной речи — речь устная. Поэтому я старался записывать свою собственную, внутреннюю устную речь, старался догнать пером внутренний монолог, обращенный к конкретному читателю — адресату письма или просто читателю. И как-то быстро стало получаться. Я делал это еще и тогда, когда в 31-м году служил на железной дороге в Званке и Тихвине диспетчером (в перерыве между прибытием товарных составов), и вечером, приходя со службы, когда работал корректором. Работая корректором, тоже вел записные книжки, куда записывал особенно точно выраженную мысль — точно и кратко.

Впоследствии, когда я поступил в Институт русской литературы (Пушкинский Дом), это было в 1938 году, и Варвара Павловна Адрианова-Перетц поручила мне для «Истории культуры Древней Руси» (т. 2; он вышел только в 1951 году) написать главу о литературе XI—XIII вв., она мною была написана как стихотворение в прозе. Далось мне это очень нелегко. На даче в Елизаветине я переписывал текст не менее десяти раз от руки. Правил и переписывал, а когда все уже казалось хорошо, я все же снова садился переписывать, и в процессе переписки рождались те или иные улучшения. Я читал текст вслух и про себя, отрывками и целиком, проверял кусками и логичность изложения в целом. Когда в ИИМКе (ныне Институт археологии АН СССР) я читал свой текст, то чтение его имело большой успех, и с этого момента меня охотно стали приглашать участвовать в разных изданиях. К великому моему сожалению, текст моей главы был сильно испорчен в печатном издании правкой редакторов. И все же первую свою Государственную премию я получил за участие в «Истории культуры Древней Руси», в числе очень немногих.

В. П. Адрианова-Перетц была замечательным организатором работ Отдела. Формально заведовал им академик А. С. Орлов, но он по крайней мере не мешал Варваре Павловне, а организационный талант, административный ум и знания у Варвары Павловны были исключительными. Отличалась она и огромной работоспособностью, несмотря на плохое здоровье (болезнь Паркинсона).

Мы в Отделе приступили к написанию первых двух томов десятитомной истории русской литературы. Здесь мне пригодился мой интерес к летописанию и искусству Древней Руси. Я стал редактировать и писать. В первом томе параллельно готовившегося учебника для вузов «История русской литературы» я писал разделы по истории русского искусства (моя и идея) и написал их от XI до XIII в. включительно. Получилась миниатюрная история русского искусства, связанная с историей русской литературы. Но привлечь меня к настоящей работе по десятитомной «Истории русской литературы» Варвара Павловна еще не решалась, тем более что один из сотрудников Отдела внезапно оказался моим большим недоброжелателем и это свое недоброжелательство «осуществлял» в течение ряда лет и впоследствии.

11 июня 1941 года я защитил кандидатскую диссертацию по новгородскому летописанию XII в. Для меня это была не только диссертация, но и выражение своей увлеченностью Новгородом, где мы с женой в 1937 году провели свой отпуск, а спустя год я приезжал туда со своими друзьями — М. И. Стеблиным-Каменским и Э. К. Розенбергом, русским немцем удивительно веселого нрава. Мы исходили Новгород и окрестности вдоль и поперек, побывали в каждом достопримечательном месте. Летописи Новгорода представлялись мне живыми, события становились почти зримыми. С тех пор я оценил научные темы, даже отвлеченно-филологические, в которых была хоть доля личного чувства. Своим ученикам я стараюсь постоянно рекомендовать темы, так или иначе связанные с ними биографически, темы, не только обещающие интересные результаты, но и близкие им по материалу.

Защиты диссертаций были в те времена не очень частым явлением. На моей диссертации оппонентами выступали академики А. С. Орлов и А. Н. Насонов. Пришли лингвисты (среди них академики Б. М. Ляпунов, Б. А. Ларин, Е. С. Истрина) и литературоведы (В. Л. Комарович), историки и историки искусства (Н. Н. Воронин). Народу было довольно много. А. Н. Насонов как оппонент произносил свой довольно длинный отзыв без единого листка бумаги — все по памяти.

Через две недели разразилась война. На призывном пункте меня с моими постоянными язвенными кровотечениями начисто забраковали, и я довольствовался участием в самообороне, жил на казарменном положении в институте, работая «связистом» и дежуря на башне Пушкинского Дома. В моем ведении была ручная сирена, которую я приводил в действие при каждом налете вражеской авиации. Спал я то на крыловском диванчике, то на большом диване из Спасского-Лутовинова и думал, думал... Жена старалась дома выкупить паек на всех, вставала ночью, чтобы занять очередь первой в магазине. Детей тогда было приказано вывозить из Ленинграда, взрослым же оставаться. Но мы своих детей скрывали на Вырице, откуда их вывез перед самым занятием ее немцами заведующий корректорской Издательства Академии наук М. П. Барманский. Если бы не он, остался бы я без семьи. Мы в Пушкинском Доме и не подозревали, что враг так близок к Ленинграду, хотя и ездили на окопные работы — сперва у Луги, потом у Пулкова.

Удивительно, что, несмотря на голод и на физические работы по спасению наших ценностей в Пушкинском Доме, несмотря на все нервное напряжение тех дней (а может быть, именно благодаря этому нервному напряжению), язвенные боли у меня совсем прекратились, и я находил время читать и работать.

Не касаюсь сейчас истории нашей жизни в блокированном Ленинграде: это тема целой книги. Писать о блокаде мельком невозможно. Скажу лишь следующее: потери в нашем институте, в нашей семье, среди наших знакомых и родных были ужасающие: больше половины моих родных и знакомых погибло от истощения. Мы очень плохо представляем себе,

сколько людей унес голод и все остальные лишения.

Однако мозг в голод работал напряженно. Я даже думаю, что эта усиленная работа голодающего мозга «запрограммирована» в человеке. Особенно остро мыслить в период лишений и опасностей необходимо для сохранения жизни. Но думалось в этот период не о том — как бы избегнуть этих лишений, а об общих судьбах нашей страны, России.

Миллионы ленинградцев уже не знают — что такое была блокада. Представить себе это невозможно. А что говорить о приезжих, об иностранцах!

Чтобы чуточку представить себе, что такое была блокада, надо зайти в школу, когда кончаются уроки. Посмотрите на этих шумных детей и представьте себе именно их, но молча лежащими в своих десятках тысяч постелей в промерзлых квартирах, без движения, даже не просящими пищи, а только выжидательно на вас смотрящими.

А еще представьте себе или вспомните (это было совсем недавно) те отсутствующие классы в ленинградских школах, которые приходились на годы рождения их учащихся — особенно 1941 — 1942.

Об окончании войны я узнал утром на улице — по лицам и поведению прохожих: одни смеялись и обнимали друг друга, другие одиноко плакали. Какое другое событие могло вызвать столько радости и такую волну горя? Плакали о тех, кто погиб, умер от истощения в Ленинграде, не дождался встречи с родными, кто оказался изуродованным и нетрудоспособным. Я и сам, прежде чем взять в руки газету, думал о многих самых близких мне людях, умерших от голода в Ленинграде и убитых на фронте. Была и тревога за тех, о ком долго не было известий: живы ли они, сохранились ли? Хотелось встречаться, говорить; множество чувств, и самых разнообразных, овладевало мной и другими. Не помню только одного: чувства мстительного торжества.

Понять значение победы можно было только масштабно. Все же исторические последствия победы будут изучать еще не одно десятилетие. Грандиозность же масштабов происшедших событий была ясна сразу, и в те дни, может быть, даже яснее, чем в последующее время. Только люди, пережившие всю горечь пораже-

ний первого года, весь ужас блокады Ленинграда, ясно осознавали — от чего они освободились и что, думалось тогда, никогда не сможет повториться. Если бы люди во всем мире обладали и сохраняли живое чувство ужаса от пережитого во время войны, современная политика строилась бы иначе.

...Я думаю, что, достигнув восьмидесяти лет, человек должен поблагодарить Жизнь. У меня, во всяком случае, есть за что ее благодарить...

Сколько было хорошего при всем бессильном стремлении многих и многих причинить мне дурное!

Жизнь! В какое необыкновенное время я «посетил» (Тютчев) свою страну. Я застал все роковые ее годы, видел множество людей всех возрастов, всех социальных слоев, всех степеней образования, всех психологических типов: и тех, кого мог бы назвать святыми, и тех, хуже которых трудно себе представить: прямых убийц тысяч и тысяч людей. Я видел и вершителей судеб, и их жертв. И жизнь повела меня по путям, которые шли ближе к жертвам, чем к их губителям. Что-то я смог сделать хорошее другим. Что-то я смог сделать и для Древней Руси...

СОЛОВЕЦКИЕ ЗАПИСИ,

сделанные частично на Соловках, частично сразу по освобождении и зашифрованные в отдельной тетради, которую я не решился продолжать. Первая тетрадь была вывезена с Соловков моими родителями, приехавшими ко мне на свидание. (Первые страницы этой тетради вырваны, чтобы не подвести упомянутых там лиц.)

Предварительные объяснения

В дореволюционные времена, а частично еще и до середины 20-х годов, во всех учебных заведениях существовало множество литературных, философских, философско-религиозных, красведческих и прочих кружков, собиравшихся в помещениях школ, институтов, университета или если позволяли квартирные условия, то и у преподавателей.

На Церковной улице (теперь улица Блохина), на пятом этаже в мансарде собирался кружок Ивана Михайловича Андреевского, носивший полусерьезное название «Хельфернак», то есть «Художественно-литературно-философско-религиозно-научная академия». Туда приходили школьники, и студенты, и профессора университета. Когда я кончил школу (это был 1923 год), Хельфернак перестал собираться, большая книга, в которую заносились темы докладов, фамилии докладчиков и всех присутствующих, была завернута в клеенку и закопана на Крестовском острове Колей Гурьевым. Потом делались попытки возродить кружок (уж слишком русская интеллигенция любила собираться, рассуждать и спорить). Два или три собрания прошли под названием «Братство Серафима Саровского», но на этом дело и кончилось.

Несколько студентов Института гражданских инженеров (В. Т. Раков, Н. Е. Сперанский, А. В. Селиванов, А. С. Тереховко), университета (Я. А. Миханьков, Д. П. Каллистов, П. П. Машков, Э. К. Розенберг) стали все же собираться то в комнате у Э. К. Розенберга, то в квартире у П. П. Машкова и дали себе самоназвание «Космическая Академия наук». Собрания устраивались раз в неделю. Слушались различные шу-

точные доклады. Каждый из участников старался перещеголять других в экстравагантности своих докладов, выступлений и точек зрения. Прочел и я доклад о старой орфографии, где «доказывал» (полушуткой, полусерьезно) наличие в старой орфографии некоторых ценностей.

В 1928 году ОГПУ приступило к ликвидации различного рода кружков. Все «академики» были арестованы. Среди них 8 февраля был арестован и я.

Нас, различных кружковцев, объединили в одно дело (многие из нас не были даже знакомы друг с другом), а через 9 месяцев из нас «родили» однодельцев и по статье 58 пункт II отправили на Соловки со сроками 5 и 3 года.

Этапную партию собрали большую. На Октябрьский вокзал провожать нас пришла огромная толпа родных и знакомых (люди тогда еще не были так запуганы). Конвой, размахивая шашками, грубо, с бранью отгонял людей. Нас заперли в столыпинские вагоны и повезли. Конвой, дотоле грубый и жестокий, в пути вел себя довольно сдержанно. Даже оправдывался: «Ваших собралось много, а нас мало».

Через три дня мы прибыли в Кемь, и конвой снова стал груб — еще грубее прежнего.

...У меня сохранились малопонятные для непосвященных записи, которые я здесь расшифровываю. Круглые скобки — те, что и у меня в тексте. Угловые скобки — это для расшифровываемого текста и для необходимых пояснений. Если что-нибудь осталось неразобранным, забылось, я пишу в угловых скобках: [неразобр.] Сначала идут записи, сделанные вскоре на Соловках, потом — различные добавления.

В этих записях публикуется все как есть. Этот документ мне дорог таким, какой он есть.

Первые страницы тетради вырваны

Утро с неожиданным осв[ещением] от снега. Такое бодрое — точно новая страница романа. «Давай выходи» [это крик конвоиров на станции Кемь, в самом конце октября — начале ноября 1928 г.].

Не успел помыться (вагон был столыпинский, купе на 6 человек с решеткой в коридор, по которому ходил

и присматривал за нами конвой, но куда выпускали мыться и пр.; в купе я, Авенир Петрович Обновленский, Петр Павлович Машков, Толя Тереховко, Федя Розенберг. Кажется, Андреевский в другом купе с Д. П. Калистовым, Аркашей Селивановым, Колей Сперанским...).

Говорят: «Не торопись» (это нам кто-то подал совет). Думал — «Действительно! Ведь приехали».

«Ямщик, не гони лошадей!» — посмеялся над пошлыми остротами (в ДПЗ на Шпалерной — мы смеялись над натужными желаниями заключенных пошутить).

Вышел не первым.

Поразила беготня (конвоя около вагонов; конвой «нервничал», изображая «строгость»).

Истошные крики конвоя.

Принимал новый [конвой — лагерный].

По талой грязи [мы] бегали в русских сапогах (непривычное ощущение — я надел хорошие русские сапоги с «поднарядом» только перед отправлением в этап в ДПЗ).

Конвоир столкнул корзину [с площадки вагона] прямо в нос. Высокий вагон (родители приготовили мне превосходную дорожную легкую корзину с замком висячим на пруте. И с ручками. Изнутри ее обшили клеенкой, чтобы не промокла. Когда я вышел из вагона на пути, конвоир, торопя меня, столкнул корзину мне в лицо, и из носа у меня потекла кровь).

Приложил снег [к носу], и появилось сознание: «надо торопиться», «спешить». [Беспокойство:] «Что с остальными вещами?»

Ветер, снег, низкие строения [Кемперпункта].

Солнце то пропадает, то выскакивает из-за быстро бегущих туч. Ив[ан] М[ихайлович Андреевский] заступился. [Конвоир кричит:] «Назад — тебе что?» (самому захотелось по морде?).

[Иван Михайлович:] «Я врач» (но чувствовалось, что он очень испугался истерики конвоира).

Команда: «По пять в ряд».

Воз [для вещей на весь этап один]. «Кто мало [имеет вещей], тот неси!» [Это крик конвоиров.]

Пошли. Дорога у воды.

Странная страна — нет земли. Камень и щепки.

3—942

Иван Михайлович впереди, И[горь] Е[вгеньевич] [Аничков] тоже впереди — спокойный (он всегда сохранял изумительное спокойствие). П[етр] П[авлович] Машков, не устроившийся с вещами, со страданием в глазах.

А[натолий] Сем[енович] [Тереховко], пытающийся улыбаться и острить (вспомнил: [надо соблюдать] «чувство юмора», как при отъезде из ДПЗ, когда мы обещали хранить заповеди КАНа) [Космической Академии наук, за участие в которой нас приговорило ОГПУ к пяти и трем годам], [а заповедь заключалась в том, чтобы всегда сохранять чувство юмора и по возможности превращать жизнь в игру].

Поразил ландшафт: огромный, огромное серое небо, свинцовые тучи, ветер, холод.

Казалось: природа неизмеримо сильнее человека.

Мистика, аскетизм. Глядя на такое небо, хотелось сгореть, как старообрядцы («антихрист» [овладел миром]).

Щелкают затворы [у винтовок конвоиров — чтобы пугать]. Хриплые голоса: «На нервах играете?!» Это так подгоняли.

Хлопают шинели о голенища сапог [у конвоиров].

То бегут, то поджидают отставших.

Все время почти бегом.

Грязь. (Мысль: только бы поспеть.) Молитва (в уме, успокаивает).

Ворота у провол.[оки Кемского пересыльного лагеря]. Пересчет [*неразобр. шесть букв*].

[Крик конвоиров:] «Давай по пяти» [т. е. «стройся по пять в ряд»].

Вошли в ворота пересылки.

Огромный камень — остров [это о Кемперпункте].

Низкие дома [бараки] — загнанные, как и люди, в кучу. (За проволокой оказалось много заключенных — целая толпа между бараками.) Жалкая и развязная манера привыкших и обжившихся людей [заключенных].

Некоторое любопытство и гордость со стороны «местных»: «и мы то же прошли».

Вывели дальше [очевидно, на свободное место за бараки].

«Принимает» [этап] Белобородов и еще кто-то с ним.

[Белобородов], пошатываясь [скоро праздник], т. е. пьяный, на нем чекистская шинель, длинная до невозможности, фуражка с широким дном и козырьком, [околыш, воротник и обшлага у шинели черные — такова форма лагерной охраны из заключенных]. Здесь вам не то и не то. [Помню как сейчас: «Здесь власть не советская, а соловецкая. Сюда нога прокурора не ступала» и пр.] Здесь Л...н! [*не разобрал*]. То отступает [от строя стоящих], то наступает, точно желая раздавить, чувствуя свою огромность перед мизерностью стоящих перед ним [типичный садист; такой же был и другой, принимавший этапы,— б. гвардейский офицер Курилко].

«Письма писать так: «Жив, здоров, всем доволен».

И еще: «Скажу встать — встанешь! Скажу лечь — ляжешь. И х... скажешь»,— далее трехэтажная брань — все в рифму.

Тон гвардии поручика. Картавил, с Курилкой говорил по-французски; это остатки белогвардейцев, сидевших еще в Пертоминском лагере.

Бег по кругу. Истошный вопль Белобородова: «Ножки выше!»

Вещи в куче.

«Урки, подними руки!»

«Сопли у мертвецов сосать заставлю».

А мне хочется смеяться: так все неправдоподобно.

[Белобородов на меня с угрозой:] «Смеяться потом будем!»

Я стал в первой шеренге — любопытство.

И[горь] Ев[геньевич] спрятался [в задних рядах]. Расчет [т. е. команда рассчитаться].

Здоровается с этапом и учит отвечать громче «Здра!» (это мы кричим, а Курилка на нас: «Не слышу, не слышу, не слышу. В Соловках слышно должно быть! 200 человек кричат — стены рушиться должны». И жест на стоящий дом.

Столбы для физкультуры — как виселицы.

И снова гнетущее тоской, тучами, простором и невыносимым равнодушием небо.

Вещи в куче. Хочется есть. Достал печенье из карма-

на [романовского полушубка, который мне купили родители], поделился с другими.

Думалось: в таком положении только взаимное сочувствие. И действительно, страшный толчок бросил нас одного к другому [хотя еще в ДПЗ у нас начались разногласия].

Возили талый снег на саночках. [Повезло, что возили снег. Впоследствии мне рассказывал мальчик, поэт Смельский, в 7-й роте на Соловках:]

[Рассказ Смельского о том, как они] катали [смерзшиеся] трупы по рельсам с визгом, и веселились, и сбрасывали [трупы] в ямы: ящик [с трупами] хорошо скользит [по рельсам]. В яме вода. Инженер, засунутый под матрац [?] Камешки. [Что эта запись значит — не помню. Очевидно, какая-то страшная подробность.]

Женская рота в Кемперпункте.

Двойные рамы. Лица, прилипшие к стеклу. Лица — с расплющенными носами (очевидно, высматривали в нашем этапе возможных знакомых и родных: женщин из бараков не выпускали).

Убежав от работы, бывшей очень тяжелой, только потому, что устали, бродили в поисках кооператива [немного денег было, хотелось есть].

«Улица», запруженная нечистотами — стоки.

Серые, развязно шмыгающие фигуры заключенных.

Я в полушубке романовском, [студенческая] фуражка (нарочно) [я решил надеть синюю университетскую фуражку, чтобы не принимали за урку], и в сапогах (к которым еще не привык). И[горь] Е[вгеньевич] в сером коротком пальто (перешитом, очевидно, из офицерской шинели).

Иван Михайлович Андреевский и Авенир Петрович Обновленский — в полушубках.

Анатолий Семенович Тереховко в сером пальто, сшитом из кусков.

Ф[едор] К[арлович Розенберг] в сером, но хуже, чем у И[горя] Е[вгеньевича Аничкова] полупальто.

С нами [в вагонзаке] ехала [симпатичная] Мария Казим[ировна], но ее мы [больше] не видели, лишь мельком в 3-й роте жен[ской].

П[етр] П[авлович] Машков был в шляпе серой с полями.

Вора [домушника Овчинникова] [он ехал с нами

в вагоне], как потом узнали, забрали в карцер. Он три раза бежал. Нижняя отвислая губа, рассказывал [в вагоне] про Секирку. Думал принести ему передачу в карцер.

Потом я его встретил страшно худым в соловецком лазарете. [В лазарет он попал избитый конвоирами.]

Кооператив оказался закрытым.

Вернулись. Мы еще сохраняли любопытство, и оно-то и спасло после однообразия ДПЗ [Дома предварительного заключения на Шпалерной — теперь улице Воинова].

Оказалось, наши в помещении театра на медосмотре [для определения группы физической трудоспособности]. Театр — мрачный сарай: такой, чтобы веселиться в этом мрачном месте, и не ином!

Пусто, холодно, сыро.

Стояли в очереди к врачам.

Два врача — молодые женщины, и врач мужчина.

К интеллигентам относились с тайным сочувствием.

Спрашивали [кто-то] о профессии. Почему-то сказал: «библиотекарь», а врачам — «педагог».

Заглядывал в категорию [т. е. пытался увидеть, какую категорию трудоспособности мне поставили].

И[горь] Е[вгеньевич] заглянул: 2-я на 3 месяца — это мне [значит, мог работать физически].

Потом оказалось не то.

И[вану] М[ихайловичу] [Андреевскому] дали 3-ю, тоже и И[горю] Е[вгеньевичу].

Было неловко снимать рубашку [носил золотой крест; врачи не обратили внимания].

Вышел на улицу — хотелось есть. Солнце скользило к горизонту.

Пошел к вещам, но не пустили.

Стали собирать. Сделали перекличку. Одного не хватило.

Кричали на нас, топали ногáми [уже в темноте].

Оказалось, [отсутствовал] Овчинников, вор — староста. Он сидел в карцере: его опознали как беглеца и страшно избили (а конвою нашему не сообщили, они-то и не могли досчитаться одного).

В конце концов заорали: «Бери вещи!»

По одному подходили к куче и тащили. Многие не

могли найти своих вещей под грудами мешков и чемоданов.

Снова строились, но по 10 в ряд.

Пересчитывались [много раз]. Проходили в ворота.

Командовали уркам [тем, что без вещей] брать наши вещи. Я помню, что что-то отдал урке в одном белье и обещал ему заплатить полтинник.

Истошный крик [караула]: «На нервах играете!» [это что мы недостаточно быстро идем]. Шли почти бегом.

Крики конвоя: «Шаг вправо, шаг влево буду рассматривать как побег! В партии отставших нет! Стреляю без предупреждения! При команде «ложись» — все как один!»

Незаметно в темноте, в нервном беге, урки сбрасывали корзины в канавы.

Чувствовал, что сил нет (ведь 9 месяцев тюрьмы, без движения, в страшной духоте сказывались).

Корзину мою все же нес урка, которому обещал полтинник.

Отчаянный холод.

Снова та же дорога, мост и карантин [на Поповом острове; теперь «Остров трудящихся»].

[Встречают:] «Здравствуй, 1-я карантинная рота!»

Пересчет и укладка на нары.

Комвзвод и взводный брали [заключенного] за руки и ноги и втискивали на нары по одному (как кильки в банке; только на боку).

[Мы не стали «укладываться».]

Темнота, еле видны ворота конюшни (где для этапов устроены нары) и узкие, точно прищуренные, два окна.

Стояли часов 5, смыкая ряды (от холода). Урки плясали (от холода в белье, тем, у кого не было одежды, выдавали только белье). Мигали маяки, и не мигала Секирка.

Северо-восток ближе к космосу. Там, в этом углу Европы—Азии, рождается погода, [находятся] метеорологические станции, [происходят] подвижки льда. Космический холод — форпост человечества. Звезды кажутся ближе, и завесы северных сияний чуть приоткрываются над тайной создания, чтобы вселить в души лю-

дей смертельный холод, пустоту и ужас перед громадностью мироздания.

Часовой в длинной шинели и валенках неслышными быстрыми шагами взад и вперед ходил за проволокой, точно маятник невидимых часов, точно поршень огромной машины. Не ветер, а целый ураган свистал в наших ушах, холодный, обледенелый, и раздувал полы моего полушубка.

Мороз становился крепче, талый снег обледенел, все быстрее ходил часовой, все быстрее шла таинственная машина — только звезды над головой.

Путеводные?

В утреннем полусвете стал виден мол, и оттуда, где должен был быть Остров, шел пароход — «Глеб Бокий» (я позднее узнал [его название]).

Нас втиснули в роту. Сесть негде. Втащил вещи и впихнул под нары. Потом долго искал — я знал, что вещи — это последнее, что связывало с домом (в тот момент это было главное — ощущать заботу родителей).

Сесть негде. Все освещается одной тусклой лампой. Удушливый запах. Голове жарко, а ноги в [*неразб.*] холоде. [Командиры из заключенных] хлестали шпану на вторых [верхних] нарах по ногам ремнями за пропавший чайник. (Наконец чайник взлетел над головами, и бить шпану по голым ногам перестали.) Толстый взводный поляк [из заключенных] оскорблял Андрюху [Миханькова], требовал уйти с прохода (куда? стояли плечом к плечу) и извинялся потом перед И[ваном] М[ихайловичем] Андреевским: «Нас мало — их [шпаны] много. Вы должны быть на нашей стороне».

Клопы ползли (на спящих на нарах) сплошной стеной. О[тец] Александр и кубанец [помню его: красавец в черкеске], мулла (занявшие два места) на одних нарах по очереди давали [нам] отдохнуть (кубанец-кабардинец только охранял нас, лежащих, от шпаны; уступали нам места — мулла и священник Александр).

Брали [из барака] на работу по очереди всех, кто стоял ближе (до дальних нельзя было добраться). Шпана плевала в нас и бросала вши, стреляла вшами щелчками.

Ночью, [на следующую ночь] при лампах [разумеется, керосиновых — «летучая мышь»] вся наша компа-

ния переписывала татуировки [«наколки»] на шпане на карточки [как приметы]. [Невольно у нас] появился начальственный тон (у И[вана] М[ихайловича Андреевского]). Итак, мы сразу стали на сторону меньшинства (как требовал от нас взводный поляк). Полез переписывать татуировки поэт Ярославский. Ярославский стал что-то шептать на ухо [взводному]. [Взводный грозно стукнул по столу кулаком и сказал:] «Был тайным — станешь явным».

Получил чечевицу в кружку (родители дали мне с собой по совету опытных людей большую алюминиевую кружку — очень важный совет). Чечевица показалась вкусной. Долго [потом] чай отдавал чечевицей. Кружку носил в [большом] кармане полушубка. Нужник — на улице. Обледенелая высокая параша за перегородкой и свистящий ветер. Параша железная.

Вынося, один (помню — инженер) вылил ее на себя (выносили двое на шесте, продетом через ушки, передний упал, и на него вылилось все содержимое). [Инженер] поскользнулся с горы и обледенел, пока добрался до барака. (В барак его не пускали. Умер — замерз.)

Ма[рию] Казим[ировну] увели... Мы знали: [жених-поляк].

Познакомился с кабардинцами. Слегка хромой Хаз Булат Алюаксилович. Другой — румянощекий красавец. Были и другие — спокойные, красивые, в полушубках и бараньих шапках.

Союз русских с кабардинцами.

Дм[итрий] Павл[ович] Калистов в синем ватнике.

Ходили в ларек на гору — купил мыло в жел[езной] коробке [своего не достать] с пионером [изображение на коробке] и клюквенный экстракт [пить чай].

Были нервно веселы и часто поглядывали в сторону Острова: кто из нас поедет (с пятилетними сроками отправляли на Остров, с трехлетними оставляли в Кеми). Знали, что едут пятилетники. Ав[енир] Петр[ович Обновленский], Арк[аша Селиванов] и Ник[олай] Евг[еньевич Сперанский] боялись остаться одни — без нас: так и случилось.

Разговоры с китайским врачом [травником]: в широком пальто-клеш, шляпе и ботинках (он был богач, но поехал — как взяли). Оказался православный, «са-

мый знаменитый человек Сибири» (так сказали о нем знающие люди).

Мулла-кабардинец и отец Александр трогательно дружили. Давали нам отдыхать на нарах. Чай на нарах — у входа направо (там, где кабардинцы отстаивали места на нарах для муллы и священника). Большая седая борода (сейчас не помню у кого: вероятнее всего, у муллы; о. Александр не имел особенно большой бороды).

Ив[ан] Мих[айлович] про всех нас говорил: «мои ученики». То же [сказал] китайцу. Это обижало тех из нас, кто учениками Ивана Михайловича Андреевского не были, но Иван Михайлович любил прихвастнуть. О. Александр направил к о. Ник[олаю] [Пискановскому] и владыке вятскому Виктору Островидову (сказал, что они на Соловках и вас устроят, что и оправдалось).

Снова били людей по пяткам (лежавших на коротких нарах). Ставили [«провинившихся»] на камни (без одежды на ветру). «Провинившиеся», прятавшиеся от работы, бегали вокруг столба [и должны были кричать:] «Я филон, работать не хочу и другим мешаю» (так кричать приказывали беспрерывно до потери голоса).

Наорали на Миханькова и Ив[ана] Мих[айловича], сказали [взводные]: «Мы ведь тоже люди».

Утром собирали партию [заключенных для отправки на Соловки]. Эту ночь спал на корточках несколько времени.

Надел валенки с калошами. Дуло (по ногам; внизу мороз, вверху жарко).

Кричали несколько часов. Выкликнули всех, кроме Обнов[ленского], Спер[анского] и Арк[аши Селиванова]: это все трехлетники.

Покричали и пошли с кабардинцами.

Утром прояснило. Перед тем мы грузили вагонетку. Сошла с рельс. Грозили карцером, но вызвали [на этап] и тем спаслись от карцера.

Чемодан [корзину в форме чемодана] нанял нести. Все время следил, чтобы не выкинул и не украл шпаненок.

Тихое солнечное морозное утро.

«Глеб Бокий» стоял под парами (монастырский пароход [«Соловецкий»].

Спихивали [заключенных] по очереди в трюм. Ругались.

Привели из карцера вора Овчинникова, где его били.

Овчинников ухватил нас и, не дав спуститься вниз, поволок нас на площадку под лестницу [под трап в трюм].

Долго стояли. Наверх [на палубу] погрузили женщин [Марию Казимировну] и «свиданцев»-женщин.

Когда выпускали наверх (подышать воздухом, те, что оставались в трюме, задыхались, и многие умерли), я выходил в студенческой фуражке поверх вязаного шлема, который у нас в семье сохранялся еще с первой мировой войны, и поглядывал на капитанский мостик, где стояла «свиданка»,— «вот, мол, мы какие».

Море, камни. Скрывающийся берег материка. Навсегда ли? Пароход резал волны, ставил волну к борту, бил волну в брызги.

Появление Секирки: Овчинников указал.

Обморок с Иван[ом] Мих[айловичем] [Андреевским].

Появление монастырских стен. Остров казался страшно большим. Холод, пронизывающий ветер.

Овчинников указал Мошк[ову], когда к нему лезли в карман. Снова загнали в трюм.

Страшний шум от растираемого бортом тонкого льда у Острова.

[Стали выводить.] Погрузили вещи на возы. [Подумалось:] «Ага—лучше».

Кал[истов] и другие пошли к возам разгружать.

Повели в 13-ю роту. [Она помещалась в Троицком соборе рядом с Преображенским; уборная находилась в алтаре — нарочно; на поверку и разнарядку на работы выводили в помещения вокруг Преображенского собора.]

Некто в бар[ашковой] шапке пирожком, шарфе и роскошных валенках — белых, фетровых, принимал [этап].

Не знал [его] — может [быть, он] вольный. Заставлял громким голосом отвечать имя и отчество.

Поразил вход в монастырь через Никольские воро-

та — хотел снять шапку и перекреститься. Никогда до того не был в монастырях. Сергиево [под Ленинградом у Стрельны] не в счет. Второй этаж [тот, что на подклети собора]. Снова обыск. Нет сил, чтобы [заново] связать корзину.

Страшная жажда.

Едва держался на ногах.

Вещи за меня сложили. Узнал, что Мишкин [брата] ремень украли. [Очевидно, урки.]

Пошли в баню [за Кремлем, она и сейчас действует на Соловках]. Сдавали под 13 ротой вещи в дез[инфекционную] камеру. Боялся, что снимут все и заставят голых идти в баню.

В бане пробыли необыкновенно долго, не по ДПЗопски [там, на Шпалерной,— минут 10]. Пил холодную воду прямо из-под крана, стыли зубы. Носильные вещи все отняли в новую дезинфекцию. Голыми гнали по холодной лестнице. Яд страшной усталости не дал простудиться. Знаменитая Баня № 2 [Песня про нее:

Много я страдала, много я видала
в бане номер два,—

на мотив «Шахты № 2»].

Я уже был во вшах.

Потом месяц я не видел бани. Погибал во вшах. В 13 роте [по возвращении из бани] встретил взводный-поляк, который, подозвав меня к себе, велел отобрать своих 7 человек. [Так как «своих» было больше], то отобрал не всех своих. Остальные были на меня в обиде. Не отобрал Калистова, Машкова, Андрюшу Миханькова.

Провел в свою камеру. [Дал взводному 1 рубль.]

Вышел пьяный Чернявский, был канун 7 ноября, и велел «всех назад».

Взводный подмигнул мне и велел подождать.

Это Овчинников научил взводному давать взятку. Научил слову «блат», [которое в те времена совершенно еще не было известно «на воле»].

А Ив[ан] Мих[айлович] был первым моим учителем «туфте» и «системе Андреевского» на строительстве Филимоновской железной дороги [когда нас повезли в лес на какую-то стройку и мы должны были ломами

разбивать смерзшуюся землю, он показал нам, как слегка ударить ломом и потом делать вид, что взламываешь землю, раскачивая лом]. [«Система Андреевского» позволяла не очень утомляться. Но это было позднее, возвращаюсь к прерванному].

Первые разочарования в Андреевском: [хвастал тем, что мы его ученики, он «профессор» и пр.].

До 2 часов ночи держали в центральной церкви: переписывая специальности. Переписывал какой-то филолог. Я почему-то рекомендовал себя как палеографа. Спросил: не ученик ли я Соболевского. Снова я позвал к нему всех наших, и Анд[реевского] в том числе. Неудача Ив[ана] Мих[айловича] попасть в лекпомы, а он действительно был врачом-психиатром.

Предложение Ярославского [второй раз] стать антирел[игиозным] лектором и сексотом [мне кажется, что Ярославский — был тот самый; он вскоре был освобожден].

Не мог есть: от усталости и воды, неумеренно выпитой в бане, распухло горло. Печенье не мог проглотить, было больно, не глоталось.

Я лег под окно за [взятку] 1 рубль. Тоже Ив[ан] М[ихайлович] и Толя [Тереховко], потом ушедший.

Утром проснулся бок о бок с о. Николаем Писк[ановским], которого рекомендовал нам в Кеми о. Александр. О[тец] Н[иколай] познакомил нас с владыкой Виктором [все эти церковные деятели были иосифлянами и не признавали сергианства] и был нашим духовным отцом все время до своего отъезда с Острова. Видел в этом [в утренней встрече с о. Николаем, который сидел на подоконнике и мирно штопал ряску, передав мне заряд необыкновенного спокойствия в первое же утро по прибытии на Соловки] чудо! [да так оно и было].

Рассказал ему [о. Николаю] — кто мы.

Иван Михайлович даже потом делал «сообщение» в 6-й роте [сторожевой, где были все священники-старики, и о. Николай в том числе] о своей поездке в Оптино.

Андреевский всех рекомендовал: «Мои ученики». Обида Толи [Тереховко на это: он никогда не бывал у Андреевского и не верил в Бога].

Появился и отец Александр. Потом он работал как

печник. Два шпиона [терлись около нас]: Веня и [*в рукописи пропуск*]. Но [о. Александр] устроил им рубашки, кормил. Жалел Толю [хоть и атеист] — он «сирота».

Толя говорил: «Буду христианином, но не через Андреевского, а через о. Александра».

О. Александр мирил Толю и Ив[ана] Мих[айловича]. О. Александр — украинец, учитель, «много у него было деток». Чадолюбив и сладко, мило говорил окая, [с украинским акцентом].

О. Александр и Ник[олай] оба не ходили на общие работы, а были сторожами [как старики].

Потом меня переселили [в 12 роту], а Игорь Евеньевич устроился на моем месте у окна.

Утром происходил развод на работу в темноте при фонарях «лет[учая] м[ышь»].

Чубаровец-нарядчик [было много разговоров по делу о страшном изнасиловании в Чубаровском переулке в Ленинграде] выкликал в партии людей, отправляемых на физические работы. Были странные фамилии, однообразно выкликавшиеся по утрам. [Запомнил:] «Шарахудинов». Казалось, сейчас крикнут: «Достоевский Федор Михайлович!» Все обезличивалось, стиралось в страшных завываниях голоса нарядчика.

Часовое ожидание: кто куда попадает [на какую работу].

Помню пересчет в 13 роте. Последний кричал в строю: «Сто восемьдесят второй, полный строй по десяти» [т. е. в одной 13 роте было 1820 человек]. [Потом стало больше, когда надстроили 3-й этаж нар]. Но всех по списку на хватало, так как проигравшие с себя в «стос» всю одежду голые урки прятались под нарами, чтобы их не погнали голыми на работу на холод [было и такое]. Бесконечные пересчеты, битье по лицам всех подряд, мат.

А кругом плакаты: «Соловки не кар[ают], а исправляют». «Долой мат, блат и подхалимство».

Усталость утром. Куда деваться, если ночью встанешь в уборную? Спящие смыкались [и лечь было некуда]. Я напирал И[горя] Е[вгеньевича] на столб [нары держались на столбах]. Холодный воздух из окна.

Голая шпана [помещалась] в 8-м взводе. Мы [были] в камере грузчиков. Кавказцы, лившие на нас чай [кипяток]. Они были на верхних нарах, мы на нижних.

Вечная готовка [на печурках], ворованная картошка.

Страшные стены собора. И о. Ал[ександр] и о. Ник[олай], не ходившие в уборную в алтаре, [ходили в центральную уборную].

Умывались по утрам из кружки Игоря Евгеньевича.

Странно выглядел Петр Пав[лович], которому остригли волосы [он один из нас носил на воле длинные волосы].

Дмитрий Павлович, посещавший СОК [Соловецкое общество краеведения]; оно было над Святыми [Пожарными] воротами, где в надвратной Благовещенской церкви помещался великолепный музей древнерусского искусства из соловецких вещей; Дм[итрий] Павл[ович] хотел там устроиться на работу [и рассказывал там, что он сын Б. Дм. Грекова].

Толя [Тереховко], подаривший трубку взводному за выкликание по утрам из строя и направл[ение] в роту назад.

Мое посещение читальни. Читал там «Кр[асную] веч[ернюю] газету» и переживал, вспоминая Петербург: Дворянский мост в синие сумерки, когда только зажигались огни, было необычайно красиво смотреть на Дворцовую площадь. Получил от Елены Александровны [Лопыревой] письмо. Думалось, навек обречен, никогда не вернусь. Хотя мы уже тогда читали стихи О. Мандельштама: «В Петербурге мы сойдемся снова»... [но не верилось].

Посещение Александра Ивановича Мельникова, делопроизводителя Адмчасти, флагофицера А. Ф. Керенского, выписавшего мне потом пропуск по всему острову — спасавшему мне здоровье дарованными им прогулками по воскресеньям. Письмо [жены Мельникова, подруги моей матери] Ольги Дмитриевны мужу обо мне. Обещание Мельникова устроить сторожем [самая легкая работа]. Посещение мое Александра Артуровича Пешковского [в канцелярской роте, чтобы устроиться на канцелярскую работу]. [Пешковский — родственник автора книги по русскому синтаксису; Александр Артурович работал в криминологическом кабинете у А. Н. Колосова.] В шубе [в камере канцелярской роты боялись, что я занесу вшей], не предложили снять; в камере был Бакрушин и замечательный моло-

дой философ Бардыгин [купеческий сын]. Ироническое отношение Ивана Михайловича.

Встреча с Александром Ник[олаевичем] Кол[осовым]. [Эта встреча — относительно работы, по рекомендации владыки Виктора Островидова.] Разговор на скамейке [с частью наших, с Александром Николаевичем Колосовым, который сам в общую роту к нам не ходил].

Потом передавали: Алек[сандр] Ник[олаевич] был в восторге от Ив[ана] Мих[айловича] Анд[реевского].

Барская шуба и палочка Колосова [добавлю еще — великолепно расчесанная полуседая борода].

Встречался изредка, когда мы возили снег [устроить нас сразу на работу он не мог: мы должны были пройти срок «общих работ», какой это был срок — я сейчас не помню].

Седая борода, улыбка, стоял опершись на палочку самодельную, березовую. Закрывание глаз — симптом доктора Иванова-Смоленского [какой-то нервной болезни, кажется истерии]. Истерическая откровенность.

Спросил нас: есть ли научные труды?

Посещение [Вольной философской] ассоциации. Поездка в Ленинград. Возвращение и шоколад «Тип-топ» от Елены Ал[ександровны].

Устроить не обещал [очевидно, Колосов — нас].

Комната с надписью «Запасный выход» в Санчасти [что это за комната — помещался ли там кримкабинет А. Н. Колосова или комиссия, которая снова проверяла для установления категорий трудоспособности,— не знаю].

[Кажется, я начинаю понимать, о какой поездке в Ленинград шла речь в моем зашифрованном тексте выше: это заведующий музеем СОК, вольнонаемный Николай Николаевич Виноградов, перед закрытием навигации ездил в Ленинград, и он посещал Вольфилу, и он виделся с моими родителями, и он привез плитку шоколада «Тип-топ», и он не обещал нас принять на работу, о чем просил его владыка Виктор.]

Работы общие, на которых мы находились.

Филимоновская ветка [Соловецкой железной дороги: узкоколейка, привезенная с разобранной ж. д.— Новгород — Старая Русса].

Совал в нос освобождение от иезуита лекпома [Ми-

ханьков говорил с ним по-французски]. Лекпом — Станислав Казимирович или что-то вроде этого. Именно он давал нам справку: «Назначать только на легкую работу». [Как это ни странно, хорошо помню этого иезуита. Он знал латынь и поэтому попал в лекпомы 13-й роты. Разумеется, сочувствовал интеллигенции. Небольшого роста, с очень тонким и «хищным» профилем, тонкими губами. Кажется, узнал бы. Тогда на Соловках было много ксендзов, как и священников.]

На работы надо было долго идти. Мы рубили лес [шаг за шагом прокладывалась ветка до Филимонова — теперь и этих строений в Филимоновом скиту нет — все заросло лесом, как мне говорили].

Солнце и снег, как в начале нового романа. Хотел так писать. Вспомнилось из «Обломова»: «Снег шел хлопьями и покрывал все!» Но в «Обломове» это был символический конец, а мне чувствовалось, что с нашим прибытием на Соловки все начинается заново.

Знакомство с Михайловским: борода [потом сбрил], папаха, болотные сапоги и тонкий голос. Партизан-эсер. Был на свободе при Советской власти только две недели и снова на 10 лет. Скверное сердце у него — «пересидел». Спокойно ко всем относился. Видно было сразу старых военных и тех, кто уже сидели,— спокойствие.

Надрывались восточные люди [из Средней Азии] в халатах. Не привыкли работать: у них работают женщины.

Вторично погнали — Филимоновская ветка. Копали по «системе Андреевского» [о ней смотри выше] — в очередь кирками и лопатами.

Поход в Лисий питомник [он помещался на острове в Глубокой губе]. Разговор по-английски с Игорем Евгеньевичем — удивлялся Федя Розенберг. Провалился Петя Машков на тонком льду. Заставляли по гнущемуся льду таскать бревна. Лес — красота. Паром. Держались за канат. В Лисьем питомнике таскали кирпичи до изнеможения.

Объяснения Ив[ана] Мих[айловича]: Мы ведь все — 3-я категория трудоспособности. Неузнанный Серебряков [мать в Париже, но, кажется, не художница] подгонял. [Почему «неузнанный»?] [Впоследствии мы с ним подружились. На воле в Ленинграде. Он, укло-

няясь от переписи тридцатых годов, при которой надо было отвечать «веруешь ли в Бога» и верующих арестовывали,— уехал в Петрозаводск и пропал.]

Ели шоколад [еще из дома] во время работы. Вкус хлеба на морозе.

Возили чаще всего снег. Латинствующая, французящая и английствующая квадрига. Иг[орь] Ев[геньевич], Ив[ан] Мих[айлович], Миханьков — у потешного «завдворома» «дедки». Склонение [«завдвором», «завдворома», «завдворому» и пр.] — Иг[оря] Ев[геньевича]. Дружба с ним Иг[оря Ев[геньевича]. «Я бы в прежнее время, да разве бы мог» и т. д.; [т. е. так «на равных» разговаривать с «завдворомом», дружить с ним].

Игорю Евгеньевичу это очень нравилось.

Возили еще мусор и свиной навоз на свалку за женбарак.

[До сих пор помню, как отвратительно пах свиной навоз, а потом так же точно пахло ото всех нас.] Разговоры о наследнике на русский престол. Калистов с Федей Розенбергом, копавшие могилки-канавы для тех, кто умрет зимой,— общие ямы в виде траншей.

Метение снега на катке [для вольнонаемных; это все считалось легким трудом].

Проф. Клейн, очень худой, сам себе готовивший в 14 роте, [вскоре умерший от рака], и антиквар, умерший от тифа... Свозили возы со снегом и около Кремля на огороде [вниз за Никольскую башню]. Снега стало много.

Забрали на этап Толю Тереховко и Петра Павловича [оба имели трехлетние сроки, и их отправляли на материк]. Прибежали к нам ночью прощаться. Бегал к А. И. Мельникову, чтобы не брали на этап. И не взяли [но, может быть, и потому, что срок у меня был 5 лет]. Ад — этап с Анзера на материк. В церкви голые совсем, [вещи забрали в камеру]. Ночью я вышел в уборную, и там рассказ про «этап на четвереньках» [это отправляли на материк] амнистированных нищих Москвы. (Выжил ли кто-нибудь из этих голых амнистированных стариков и старух?!)

Слухи про Кондостров, куда ссылали стукачей. И адмчасть, которая воевала со стукачами, отправляя их со всего острова.

Камера Мельникова и Виноградова [другая] в 6 ро-

те, где старики сторожа, но их помещение выше. Мельников пьяный встречал меня, держась за дверь. [Стал рабочим в Раскопочной комиссии, возглавлявшейся архитектором-реставратором Назимовым.]

Вместе с Назимовым [делали] обмеры в Головленковской башне, устанавливали «Мещериновский проход» [через который войско Мещериново ворвалось в Кремль]. Первое знакомство с Назимовым [очень полезное для меня, так как в процессе обмеров он любил рассказывать о псковской архитектуре]. Знакомство с Юлией Николаевной Данзас — [уральский] казак, «Дурова», «кавалерист девица». Рассказы о ней Иг[оря] Ев[геньевича], о ее войне с Распутиным, о ее эксцентричности. Сидела бухгалтершей.

Виноградов был в Ленинграде [моя догадка выше оправдалась], спрашивал у нее — «Нельзя ли устроиться?»

Читал книги с Иг[орем] Ев[геньевичем].

Поверки по субботам. «Стройся по буквам». До 4 утра. Шпана, мочащаяся на пол и забивающаяся между дверей, где потеплее,— они все голые, в одном белье. Битье палками, «дрынами».

Истошные крики.

Длинные ящики картотек.

Работа без выходных дней. Направление в Сельхоз вместо кого-то. Работа у кладовщика-толстовца с бородой.

Авантюрист и сумасшедший Комчебек-Возняцкий. [Я направлен на «постоянную» работу к нему]. [Врал] рассказы про аэроплан и Москву, куда якобы его берут для разоблачения кого-то, про письма, которые он получает без цензуры, про камеру, где стоит рояль для него. «Эпизоотический отряд», чистейшая «туфта» [якобы эпидемия ящура у скота в Сельхозе]. Выписка муки за моей подписью [владыка Виктор сказал, чтобы я больше этого не делал].

Варение похлебки из муки для скота [помню: похлебку варить не умел, подгорела — это все в монастырской портомойне на берегу Святого озера, а через дорогу в хлевах скот ревет от голода, а Комчебек-Возняцкий не идет]. Говорили: ящур — нарочно его распространяют, нарочно.

Санитар-эстонец в шляпе [возмущался Комчебеком].

Градусники под хвосты коровам — я их сам ставил; температура, конечно, у коров выше, чем у человека; не признак нездоровья.

Владыка Виктор говорил о Комчебеке: магометанин и христианин, удрал из тюрьмы и читал доклады о международном положении. Командовал [по собственным словам Комчебека] эскадрильей.

Парикмахерская-каморка и сон там Клейна.

Перевод некоторых — Феди Розенберга и Володи Ракова в 12-ю роту. Вызовы на работу их в Сельхоз. Я же получил освобождение.

Взятки нарядчику [покупал хлеб] и Возняцкому.

Страшно боялся [очевидно, Комчебек — Возняцкого].

Хлев с коровами и фонари «летучая мышь».

Поставили печь с котлом в бывшей монастырской портомойне напротив.

Визит к владыке Виктору в 4-ю роту.

Знакомство с Бахрушиным и Михновским.

...Чему я научился на Соловках? Прежде всего я понял, что каждый человек — человек. Мне спасли жизнь «домушник» (квартирный вор) Овчинников, ехавший с нами на Соловки вторично (его возвращали из побега, который он героически совершил, чтобы увидеться вновь со своей «марухой»), и король всех урок на Соловках, бандит — Иван Яковлевич Комиссаров; с которым мы жили около года в одной камере.

...После тяжелых физических работ и сыпного тифа я работал сотрудником криминологического кабинета и организовывал трудовую колонию для подростков — разыскивал их по острову, спасал их от смерти, вел записи их рассказов о себе...

В остальное время я встречался с самыми разнообразными людьми — разных национальностей (был даже японский самурай), разного социального положения, разного образовательного уровня, разных профессий. Я оценил моральную стойкость людей старого

дворянского воспитания. Несколько лет я работал с людьми, многие из которых были очень талантливы. Общение с ними было для меня в высшей степени полезным. В начале ноября 1931 года меня вывезли на материк, и я стал работать на Беломорско-Балтийском канале, в одном из самых ответственных узлов всех работ — диспетчером на железной дороге. И снова люди и люди...

Из всей этой передряги я вышел с новым знанием жизни и с новым душевным состоянием. То добро, которое мне удалось сделать сотням подростков, сохранив им жизнь, да и многим другим людям, добро, полученное от самих солагерников, опыт всего виденного создали во мне какое-то очень глубоко залегшее во мне спокойствие и душевное здоровье. Я не приносил зла, не одобрял зла, сумел выработать в себе жизненную наблюдательность и даже смог незаметно вести научную работу.

«Я ВСПОМИНАЮ...»

(из текста к фильму)

Удивительно, как быстро проходит время. Стирается многое. Остается главным образом детство. И детство это как воспоминание о каком-то рае. Я помню, что с семьей мы очень любили прогулки. И вот в тех местах, где сейчас лежат мои родители, брат, дочка, где кладбище, там мы собирали чернику перед первой мировой войной. Это было как будто совсем недавно. И было такое счастливое время! Мы ходили гулять на Щучье озеро и в этих местах как раз собирали чернику.

Сейчас смотришь фотографии — и отец и мать были очень красивые, но вместе с тем домашние. Для них счастье было — это дом, главным образом дом. Несмотря на то что они были такими домашними, познакомились они не по-домашнему. Познакомились они в Шуваловском парке. Оба хорошо танцевали, и в Шуваловском яхт-клубе они получили первую премию за мазурку. Отец с матерью шли в первой паре. После этого отец стал появляться под окнами родителей моей матери. Прогуливался. Родители уже поняли в чем дело: «твой пришел», значит. Телефона тогда не было. Заглядывали в окно. Потом в конце концов они познакомились уже домами, он как-то решился прийти в дом. И...

Мой отец был очень домашний человек. Любил делать мороженое по воскресеньям; к Пасхе окорок запекать. Мать делала пасху и кулич; а он окорок запекал всегда. И вот есть эту корочку, хлебную корочку от запеченного окорока,— это блаженство было. Лучше не было. Вообще, как внимательны должны быть родители к своим детям, потому что ведь все это запоминается на всю жизнь и потом передается уже своим детям. Помню свою мать, как она ложилась на диван, я заби-

рался между ней и подушками. Было очень уютно. И мы начинали с ней петь песни, детские песни...

Вот портрет моего деда, Михаила Михайловича Лихачева, потомственного почетного гражданина Петербурга. Это звание давалось купцам и ремесленникам. У деда, у прадеда была золотошвейная мастерская. Они обслуживали двор: шили мундиры золотом, ризы церковные золотом шили. За эти заслуги он, очевидно, и получил потомственного почетного гражданина. Дедушка по матери был очень веселый человек, очень веселый. Он был бильярдист, еще играл и в карты. Часто проигрывался, дотла проигрывался. Азартный человек был, очень эмоциональный. Даже из-под кровати у моей бабушки обувь иногда уносил для того, чтобы отыграться. И отыгрывался! И жизнь как-то при том нормально шла. Дедушка любил песни, романсы русские и, я бы сказал даже, ямщицкие: «Степь да степь кругом», «Однозвучно гремит колокольчик»... Помнится, что мне очень нравилось это всегда — «Однозвучно гремит колокольчик».

Эта песня, эта мелодия как-то прошла через всю мою жизнь. Когда я поступил в «Космическую академию», стал «космическим академиком» в свои там 16 или 17 лет, я помню, что у нас был такой гимн: на другие слова, но на этот мотив, который как-то меня очень настраивал. «Набегали сурово барашки. Приумолкнул наш радостный крик. И сидели мы точно монашки. И летел наш разбойничий бриг».

В начале 20-х годов существовало много молодежных кружков. Ну что это были за молодежные кружки? Это были сообщества — по пять, по шесть, по двенадцать человек, которые летом ходили пешком, скажем, по Военно-Сухумской дороге. Все они стремились иметь какие-то отличия друг от друга. У нас, например, были тросточки, палочки кавказские, купленные на Военно-Сухумской дороге.

Когда я поступил в университет, то ощущал там какую-то одинокость. Учился я сразу на двух факультетах, и мне нужно было много заниматься. Помню, как отец ко мне подходил и говорил: «Митюша, ну хоть бы ты погулять пошел. Ну к кому-нибудь пошел бы. Ну что ты все сидишь над книгами? Нельзя же так». И вот когда меня пригласили в «Космическую академию

наук» (это мои же соученики, одноклассники, потом приятели этих одноклассников — вот этих «космических академиков»-то), я был очень доволен.

Обязанностью нашей было читать шуточные доклады, какие-нибудь очень экстравагантные доклады, что-то придумывать. Это, между прочим, была выдумка наша, но она совпадала с выдумками многих других. У Вернадского, например, многое в его теории вышло из шуточных докладов, которые он читал в санатории «Узкое» Академии наук. И Чуковский читал шуточные доклады, и Крачковский, и так далее. А из шуточных докладов вырастали сложные и серьезные теории.

Мой доклад заключался в оправдании старой орфографии. Не целиком, но некоторые такие соображения я высказал. Соображения эти я до сих пор помню и с ними до сих пор согласен. Ну, вот, скажем, так. Я говорил о недопустимости отмены буквы «ять». Я говорил так, помню, что учимся мы кататься на велосипеде ну максимум неделю, а катаемся всю жизнь. Написать, знать, где ставить букву «ять» — это нетрудно выучить, но это облегчает чтение и к тому же связывает нас с историей русского языка. Это буква «ять», это буква «и» с точкой, это «фита», это «ижица»... Мы можем отличить «мир» с точкой и мир с обыкновенным и, восьмеричным. Все это не значит, конечно, что сейчас я стремлюсь восстановить старую орфографию. Это невозможно. Уже новая орфография стала историей. Но в свое время, когда только что отменили старую орфографию, вот такие соображения у меня были, и меня сделали «академиком», после доклада произвели «в академики» по кафедре старой орфографии (у каждого была своя «кафедра», из наших восьми членов).

И вот, когда мы так дружили и радовались нашему юношескому благополучию, нашим идеям, нашей мечте о будущем, как мы и в старости будем встречаться и так далее, мы совершенно не подозревали, что мы делаем что-то противозаконное или что-то дурное. И когда праздновалась годовщина, первая годовщина КАН'а (Космической академии наук), то были всякие шутки. Среди этих шуток была телеграмма, посланная одним из наших — Володей Раковым из Детского Села в Большой конференц-зал, в которой было сказано, что

папа римский поздравляет Космическую академию наук с годовщиной, и еще там были какие-то пожелания. Но оказалось, что эта телеграмма вызвала к себе очень серьезное отношение. Я не знаю, какие происходили события тогда в Ленинграде, связанные с католической церковью, с костелом. Но, во всяком случае, в серьезность этой телеграммы кто-то поверил, и мы почувствовали, что за нами следят, что нами интересуются. И... я и года не был в этой Космической академии, приблизительно месяцев восемь, как 8-го февраля мы были арестованы, и нас всерьез стали спрашивать о наших связях с папой римским.

Сам арест был ужасен для моих родителей. Я впервые увидел, что мой отец, который всегда мне казался самым храбрым и самым умным человеком, вдруг упал в кресло, бледный как смерть. И даже следователь, который производил обыск, подошел к нему и подал стакан воды. Это было ужасно! Это было гораздо хуже, чем мой арест. Поехал я тогда в маленьком «фордике», смотрел и прощался с Ленинградом из окна этого «фордика»...

Жизнь полна удивительных вещей, если сопоставлять разные ее моменты. Скажем, мне удалось быть на самом низу, именно удалось быть. Я благодарен судьбе за это. И на относительной высоте, академической во всяком случае. Вот, сопоставляя, видишь, что жизнь смеется над людьми, смеется над людьми.

Я помню, лет двадцать назад, а может быть, немножко больше, еще это было при президенте Академии наук Келдыше, а может быть, это раньше было — впервые, по-моему, правительство, члены правительства пришли на заседание Академии наук, на общее годичное собрание. И естественно, они должны были занять первые места, а к первым местам первый ряд уже привык, и никто не хочет переходить во второй или в третий ряд, потому что это будет означать, что человек впал в немилость или отстранен от должности и так далее. Итак, люди, вытесненные правительством, членами правительства со своих мест, все равно толкутся у стульев первого ряда. И зал наблюдает, что происходит что-то странное — люди друг друга толкают плечами, стараясь незаметно продвинуться к первому ряду. Потом в зале раздался хохот, неудержимый хо-

хот, потому что поняли, что эти люди хотят сидеть в первом ряду и никто не хочет перейти во второй ряд. Это академики, это вице-президенты и так далее.

И вот вызвали такого коренастого человека, служащего, который на глаз уже всех знает, всех узнает, и он стал усаживать боком к столу, и усадил всех. Человек, который сидит боком к столу, занимает меньше места и остается в первом ряду. И телевидение его снимает, и фотограф его снимает. И так часа три, пока шло заседание, люди сидели в неудобной позе, притиснутые друг к другу. И я вспомнил, что, когда на пересыльном пункте нас помещали на нарах, положить на нары на спину было нельзя — не поместились бы люди. И их клали отделенные: два отделенных брали человека за руки и за ноги и притискивали друг к другу боком. И все лежали боком, на одном боку. И среди ночи командовали перевернуться, потому что тело-то затекало на одном боку...

Меня всегда выручало, что я мог видеть событие как бы со стороны, интерес к тому, что происходит вне меня. Когда я приехал в Кемпункт, то первое ощущение — ощущение фантастики... Крики и издевательства конвоя. Меня ударили сапогом по лицу, когда я спускался из вагона. Потом какое-то нелепое требование, чтобы мы бегали вокруг столба. С вещами. Причем люди, ругавшие нас матом, говорили между собой по-французски. У меня было впечатление такое, что я вижу какой-то необычный сон, будто я попал в кинематограф, и я засмеялся. Мне было смешно. Это меня выручало, потому что я как бы смотрел на все со стороны.

В общем, мне всегда везло в жизни, но в последний момент. Всегда оказывалось так, что я нахожусь в каком-то критическом состоянии, и в этом критическом состоянии в последний момент я оказывался в выигрыше, и даже в моральном выигрыше... Вот когда нас привезли в 13-ю роту общих работ и когда я работал то помощником ветеринара, то электромонтером, то пилил дрова на электростанции (причем это я умел делать, это мне нравилось даже), то собирал ягоды, то еще куда-то меня отправляли, во всякие места, в конце концов я попал в криминологический кабинет. В криминологическом кабинете, я не знаю, по чьей инициативе, не помню уже, началась организация детской ко-

лонии, колонии несовершеннолетних преступников, которые попадали туда по тридцать пятой статье тогдашнего еще кодекса как люди социально опасные. Это карманники, беспризорные, наркоманы, малолетние проститутки (шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет). Ну вот, такая публика, которую я уже начал жалеть в 13-й роте. Мы решили, что их нужно изолировать от взрослых преступников. Может быть, их можно спасти. Эта идея понравилась начальству, потому что начальству нужна была показуха, туфта. Создание такой колонии для перевоспитания малолетних им показалось выгодным. И это действительно было выгодно, потому что мне и моим товарищам по криминологическому кабинету удалось спасти сотни жизней, определяя ребят в колонию. Я опрашивал ребят, записывал их биографии, причем они же сами надо мной смеялись: «Ну мы же все врем вам. Зачем вы записываете?» А меня начала интересовать уже научная тема. Тема такая — как они оправдывают то, что они стали ворами.

Они беспрерывно играли в карты. Проигрывали с себя все. Сидели прямо голыми. Спасались они под нарами. Я следил за их игрой в карты и изучал эту игру. Потом я написал статью «О картежных играх уголовников». Сам я никогда в карты не играл. Но по рассказам, по тому, что наблюдал, я написал эту статью. Ее напечатали — это была моя первая научная работа — в журнале тоже фантастическом. В общем, фантастическом, потому что в лагере, где творились всякие ужасы, вдруг возникает журнал, который продается по всей стране, на который объявляется подписка и в который пишут статьи все мои знакомые.

Я жил в камере с Владимиром Кемецким (Свешниковым). Это был великолепный поэт. Великолепный поэт! Он вернулся из Парижа, но совершенно не совладал с нашей тогдашней обстановкой — говорил, что ему вздумается, писал, что ему вздумается... И вот он в «Соловецких островах» печатал свои прекрасные стихотворения.

Казарновский, Юрка Казарновский — так мы его называли, это был очень талантливый мальчик, из Ростова-на-Дону. Он писал стихи, и его стихи сейчас опубликованы в «Огоньке». Казарновский не вылезал из лагерей и там любил сочинять хохмы. Скажем, когда

Успенский, начальник культурно-воспитательной части, к нему обращается со словами: «Ну, сделай так. Какой-нибудь лозунг нам придумай, что у нас на Соловках все делается для рабочих и крестьян». И он сразу, с ходу говорит (быстрая сообразительность такая еврейская): «Соловки — рабочим и крестьянам». — «О, здорово! О, здорово! Надо написать лозунг». И над Никольскими воротами, единственным и главным входом на Соловки, был развернут красный такой транспарант, и белым было написано: «Соловки — рабочим и крестьянам!»

Потом кто-то сказал, что не совсем это удобно...

В одной комнате я жил не только со Свешниковым (Кемецким), но и с «королем» всех урок на острове, фактически вторым начальником лагеря, потому что все уголовные ему подчинялись. Это был Иван Яковлевич Комиссаров. Весьма почтенный уголовник, бандит, сподвижник знаменитого Леньки Пантелеева, его ученик, грабивший фондовые биржи, ходивший даже с пулеметом на ограбления,— у него собственный пулемет был. Ну, и он спас мою жизнь, потому что однажды, когда у меня украли пропуск по острову (это была большая редкость — не всем выдавали, но мне он был нужен, потому что я собирал подростков для трудовой колонии — по разным командировкам ездил и так далее),— когда у меня украли этот пропуск, я ему пожаловался, сказал, что не оставят меня, отправят на Секирку и все, конец: «Иван Яковлевич, помогите как-нибудь». Иван Яковлевич сказал: «А что я могу? Я ничего не могу». Через три дня я этот пропуск нашел у себя в кармане.

Все слухи назывались «парашами». А так как они исходили главным образом из радиостанции, то — «радиопарашами». Были сложены стихи: «Что за радиопараша... что за гром? Это танцует, наевшись каши, наш веселый слон». Слон — это был символ Соловецкого лагеря особого назначения — белый слон, потому что на Белом море. И даже клумба перед управлением была выложена из белых, побеленных кирпичей (кирпича силикатного тогда еще — не было). На клумбе был огромный слон. На попоне — «у» (управление). УСЛОН. И печать такая же была. Так что юмор — он незаметно проникал и в среду начальников, которым не

положено было смеяться, которые всегда были серьезны, всегда нахмурены, всегда с пронзительным таким взором, подозревающим, нудным.

Я был арестован в двадцать восьмом году. Это первый сигнал сталинской эпохи. Но то, что нельзя было развернуть в большом государстве сразу, то можно было развернуть в маленьком государстве. Потому что Соловки, концентрационный лагерь, представляли собой государство в государстве, маленькое государство. И нам так и кричали в первый день: «Помните, что здесь власть не советская, здесь власть соловецкая!», «Нога прокурора сюда не ступала!», «Жаловаться некому!» — и так далее — кричали. И это была чистая правда! Потому что это было государство в государстве, имевшее свою денежную систему, свою железную дорогу, свое пароходство. Но... при этом полный беспорядок, свой беспорядок. И вот здесь власть начали брать сумасшедшие, или, вернее, люди, стоящие на грани сумасшествия, шизофреники, параноики, которые начали придумывать несуществующие заговоры, чтобы запугать начальство и тем самым овладеть властью, быть приближенным к нему. А быть приближенным к начальству — это значит получить какой-то паек, что-то дополнительное, какие-то лучшие условия проживания, спать не на нарах, а на топчане и так далее. И вот начались доносы, выдуманные дела, сажание в карцер друг друга. Свои «лысенки» объявились...

Власть, которую получали эти сумасшедшие,— она опьяняла. И люди, которые владели этой властью, становились с каждым днем все более и более жестокими. Им казалось, что в этом их могущество. На самом деле это было могущество обстоятельств, в которые они попадали. И начинались издевательства над заключенными, потом наказания заключенных. В издевательствах над людьми эти сумасшедшие получали удовлетворение. Какое-то. Им казалось, что они выше всех. Им особенно было приятно наказать профессора, наказать ученого, наказать того, кто в нормальной жизни был бы их выше. Вот ты был профессор, ты был артист, ты был врач, а теперь вот делай то, что я заставляю тебя делать...

Террор ведь основан на боязни. Тиран боится своих подчиненных. Вот что такое тирания, основа тирании.

И тут то же самое было. Охрана боялась, очень боялась возможности восстания, непослушания. И поэтому она для гарантии своей сохранности получила разрешение запугать арестованных. Тем более что на нее были жалобы — на жестокость и так далее. Даже в Совете Народных Комиссаров поднимался об этом вопрос. И вот было получено разрешение расстрелять триста человек. В это время мои родители были у меня на свидании. Они наняли комнату у одного из охранников, и мы там втроем жили в этой комнате некоторое время, несколько дней. Вдруг ко мне приходят из роты — это был как раз день расстрелов. Вызвали в коридор из комнаты, чтобы родители не слышали, говорят: «За тобой приходили. Что-то надо делать...» Я вернулся к родителям и сказал, что ухожу на ночную работу, меня вызывают, что приду утром.

И я вышел. Куда деваться? Я пошел в Кремль, но не вернулся в роту. Я спрятался между делянками дров. И сидел. В это время раздавались выстрелы на кладбище. И я просидел всю ночь, ожидая, расстреляют меня или нет, найдут меня или нет между этими дровами.

И вот тут случилось со мной то, что случилось однажды в детстве. В детстве мне снился страшный сон. Сон был такой: на меня едет поезд, и поезд наезжает, и я страшно боюсь, что он меня раздавит. Потом я даже не хотел спать и делал все, чтобы не заснуть. Но детский сон все-таки очень крепкий. Так что я засыпал. И опять видел этот сон. И я стал тогда рассуждать: это ведь сон, он мне не может причинить никакой неприятности. Я скажу этому паровозу, который на меня наезжает: « Я тебя не боюсь. Ты — во сне». И я сказал это паровозу. И паровоз рассыпался передо мной. И после этого кошмар больше не повторялся. И вот когда я сидел между дровами, и утром вышел, и оказалось, что расстрелы кончились, то у меня появилась уверенность, что не будет больше этого кошмара, мне нечего бояться.

Каждый день, прожитый мною,— это подарок мне. Я живу жизнь за этого второго человека, которого вместо меня расстреляли. Потому что ведь подводили под общее число — триста человек. И я должен прожить достойно за него.

Когда я вернулся с Соловков, то я понял — очень большие изменения произошли в жизни. Меня арестовали восьмого февраля двадцать восьмого года, вернулся я восьмого августа тридцать второго года. За это время произошли колоссальные перемены. Я увидел, что из одного лагеря я попал в лагерь другой, большего масштаба. Большего масштаба и, может быть, в котором легче скрыться. Но... мне было все-таки очень трудно, я не мог поступить на работу полгода. Должен сказать, что состояние безработного, который не может поступить на работу по каким-нибудь причинам, очень тяжелое, и, хотя я был ударником Беломорско-Балтийского канала и получил удостоверение с красной поперечной чертой, означавшей, что с меня всякая судимость снята, тем не менее меня не принимали на работу.

... *Лихачев (обращаясь к жене).* А ты помнишь, как я пришел в издательство? Наниматься пришел.

Зинаида Александровна. Пришел в издательство. В пальто, и такая у него была круглая каракулевая шапочка, которая ему очень шла. Пальто это, оказалось, было его отца, но на нем хорошо сидело. Ну, вот, он пришел. А у нас там, кроме меня, были еще молодые сотрудницы. Мы потом спрашиваем: «А кто этот молодой человек?» «А это к нам хочет поступить корректором». «Пожалуйста, возьмите его»,— мы говорим.

Было начало осени... Потом смотрю, уже октябрь, а он все ходит в белых туфлях. Думаю, наверно, бедный человек или семья большая.

Лихачев. Я ходил в парусиновых туфлях, потому что они были очень удобны. А перед этим я привык ходить в русских сапогах. Портянки, русские сапоги — в лагере же.

Я так был рад, что у меня наконец удобная обувь, что я до снега ходил в парусиновых туфлях.

Так началось наше знакомство. И идейное руководство Зинаиды Александровны мной. Она всегда мне говорит, что закрыть, что открыть, что одеть, какую рубашку... Все я покорно слушаю.

В 30-е годы я работал на самой незаметной должности, которая только может быть,— корректором в Издательстве Академии наук. Я ни с кем не говорил,

приходил и садился молча за корректуру, потом молча от нее уходил. Но были такие события, когда надо было бы участвовать в общественной жизни. Были заседания, собрания и по фабрикам, и по заводам, и по учреждениям. Когда начались процессы, вот эти страшные процессы 37—38-го годов, то нужно было на этих собраниях голосовать за смертный приговор. Даже некоторые выступали с пафосом, с истерикой, что они не могут этого выдержать, всех этих чудовищных преступлений, службы японским там империалистам или каким-нибудь еще, я не знаю, швейцарским или исландским. Что только не выдумывали тогда по поводу этого! И вот моя задача заключалась в том, чтобы предвидеть такого рода заседания и не прийти вообще в издательство.

А время было жестокое... Шли аресты. А у нас появилось сразу двое. Чудные девочки были! Но жили мы бедно... Жили в одной комнате. На ночь расставляли постели. И когда постели расставят, так уже ходить было нельзя.

Вот, что такое была блокада — это трудно сегодня представить, это невозможно рассказать. Электричества нет. Окна зашторены, и не всегда хватает сил днем шторы поднять. А вообще-то зимой все время темно. Коптилка только... Я еще с восемнадцатого года умел делать такие коптилки, с минимумом керосина, которые горели, как тоненькая маленькая свечечка горит. При ней можно было читать. Мы лежим под одеялами, под шубами — все, что можно, на себя накидываем. Потому что страшнее, чем голод, холод,— холод, какой-то изнутри идущий. Ведь не отапливается организм-то, в нем нет тепла. И этот внутренний холод — он страшен. Дрожь пронизывает. В это время какой-то звук — это умирает от голода мышь, потому что мы съедали все крошки... Мы лежим и высчитываем, на сколько дней у нас еще хватит немножко картофельной муки, чтобы замутить кипяток. Единственное живое, кроме нас, что было в комнате,— это часы. Они тикали, ходили. Мы по ним только узнавали время, что это — ночь или день и когда Зинаиде Александровне идти за хлебом, становиться в очередь. Ночью-то — комен-

дантский час, выходить на улицу нельзя. Зинаида Александровна пряталась по парадным разным, по лестницам, и очередь пряталась от милиционеров. Ну, потом и милиционеров не стало. Так что вот эта обстановка такого одиночества каждой семьи, каждой семьи одиночества... И спасают только стихи, потому что при коптилке читать можно было одному, одному можно было читать вслух. Вслух что читать, когда думы все время перебиваются голодом. Только стихи. Вот стихи, поэзия — она способна была пересилить чувство голода.

К весне стало немного лучше, появились какие-то добавки к пайкам, паек стал чуть больше. Но все равно было очень страшно, потому что начались обстрелы. И я не всегда был дома, должен был быть на службе, в своей военизированной охране, отрядах самообороны. Там, на службе, тоже умирали — умирали между стеллажами книг, умирали в кабинетах... в первую очередь умирали старики. Умирал мой отец за стенкой... Потом мы его зашивали в простыню, клали на детские саночки и везли в морг. Где-то он на Серафимовском кладбище в общей могиле похоронен.

Ну, обычно когда снимают фильм о людях старых, то стремятся свести все к благополучному концу. Я не скажу, чтобы в нашей жизни получился хеппи-энд. Нет. Во-первых, убавилась семья — не стало одной из дочерей. Во-вторых, в общем, так сказать оглядываясь на прошлое, мы видим, сколько было всяких и несчастий, и тяжелых переживаний, и сколько голодов было, несколько голодов было — и в восемнадцатом году, и в тридцать втором году, и блокада. Жизнь была тяжелая. Неприятностей много. И тем не менее вот та маленькая группа моих учеников, которая у меня осталась в секторе, она доставляет мне большую радость. Доставляют мне радость не только ученики, но и то, что мне удалось сделать. Удалось мне все-таки возродить интерес к древнерусской литературе. Это заслуга и моих товарищей, и в какой-то мере моя. Я этим очень горжусь. Мне удалось найти хороших помощников в этом деле, в деле пропаганды замечательных семи веков древнерусской литературы. Это целый культурный пласт.

Случайность в жизни играет огромную роль. Слу-

чилось признание. Могло и не случиться признания. Но менять в жизни ничего не следует. Единственно, что следует помнить о том, что в старости будешь думать о молодости, о каждом своем поступке. И стараться поступать так, чтобы не раскаиваться ни в чем, что было сделано. Это очень трудно.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К БРОШЮРЕ 1942 ГОДА

В блокадную зиму 1942 года вместе с известным уже к тому времени археологом М. А. Тихановой я написал брошюру «Оборона древнерусских городов». Впрочем, эту брошюру можно назвать и маленькой книжкой (в ней была 101 страница). Через месяца два она была набрана слабыми руками наборщиц и отпечатана. Осенью того же года я стал получать на нее отклики прямо с передовой.

В книжке есть смешные ошибки. В заключение я, например, процитировал известные строки Н. Н. Асеева:

Петербург,
Петроград,
Ленинград!
Это слово, как гром и как град,—

но приписал их Маяковскому! Просто не было сил снять с полки книги и проверить. Писалось больше по памяти. Впоследствии я рассказал о своей ошибке Асееву. Николай Николаевич утешил меня словами, что он горд этой ошибкой: ведь смешал я его стихи не с чьими-то — со стихами Маяковского!

И при всей своей наивности в частностях брошюра эта имела для меня большое личное значение. С этого момента мои узкотекстологические занятия древними русскими летописями и историческими повестями приобрели для меня «современное звучание».

В чем состояла тогда современность древней русской литературы? Почему мысль от тяжелых событий ленинградской блокады обращалась к Древней Руси?

8 сентября 1941 года с запада над Ленинградом взошло необычайной красоты облако. Об этом облаке вспоминали и писали затем многие. Оно было интенсивно белого цвета, как-то особенно «круто взбито»

и медленно росло до каких-то грандиозных размеров, заполняя собой половину закатного неба. Ленинградцы знали: это разбомблены Бадаевские склады. Белое облако было дымом горящего масла. Ленинград был уже отрезан от остальной страны, и апокалипсическое облако, поднявшееся с запада, означало надвигающийся голод для трехмиллионного города. Гигантские размеры облака, его необычайная сияющая белизна сразу заставили сжаться сердца.

Великая Отечественная война потрясала своими неслыханными размерами. Грандиозные атаки с воздуха, с моря и на земле, сотни танков, огромные массы артиллерии, массированные налеты, систематические, минута в минуту начинающиеся обстрелы и бомбежки Ленинграда! Электричество, переставшее действовать, водопровод без воды, сотни остановившихся среди улиц трамваев и троллейбусов; заполнившие воды Невы морские суда — военные, торговые, пассажирские; подводные лодки, всплывшие на Неве и ставшие на стоянку против Пушкинского Дома! Огромный турбоэлектроход, причаливший у Адмиралтейской набережной, с корпусом выше встретивших его старинных петербургских домов.

Поражали не только размеры нападения, но и размеры обороны. Над городом повисли в воздухе десятки невиданных ранее аэростатов заграждения, улицы перегородили массивные укрепления, и даже в стенах Пушкинского Дома появились узкие бойницы.

И одновременно со всем этим тысячи голов беспомощно, безумно блеявшего и мычавшего скота в пригородах: собственность личная и коллективная сбежавшихся сюда беженцев из ближайших и далеких деревень. Казалось, что земля не выдержит, не снесет на себе ни тяжести людей — ни своих, ни подступивших к невидимым стенам города врагов,— ни тяжести человеческого горя и ужаса.

Невидимые стены! Это стены, которыми Ленинград окружил себя за несколько недель. Это была граница твердой решимости,— решимости не впустить врага в город. В подмогу этим невидимым стенам вырастали укрепления, которые делали женщины, старики, инвалиды, оставшиеся в Ленинграде. Слабые, они копали, носили, черпали, укладывали и иногда уходили в сто-

рону, чтобы срезать оставшиеся на огородах капустные кочерыжки, а затем сварить их и заставить работать слабевшие руки.

И думалось: как можно будет описать все это, как рассказать об этом, чьи слова раскроют размеры бедствия?

А город был необычайно красив в эту сухую и ясную осень. Как-то особенно четко выделились на ампирных фронтонах и арках атрибуты славы и воинской чести. Простирал руку над работавшими по его укрытию бронзовый всадник — Петр. Навстречу шедшим через Кировский мост войскам поднимал меч для приветствия быстрый бог войны — Суворов. Меч в его руках — не то римский, не то древнерусский — требовал сражений.

И вдруг в жизнь стали входить древнерусские слова: рвы, валы, надолбы. Таких сооружений не было в первую мировую войну, но этим всем оборонялись древнерусские города. Появилось, как и во времена обороны от интервентов начала XVII в., народное ополчение. Было что-то, что заставляло бойцов осознавать свои связи с русской историей. Кто не знает о знаменитом письме защитников Ханко? Письмо, которое и по форме и по содержанию как бы продолжало традицию знаменитого письма запорожцев турецкому султану.

И тогда вспоминались рассказы летописей:

«Воевода татарский Менгухан пришел посмотреть на город Киев. Стал на той стороне Днепра. Увидев город, дивился красоте его и величию его и прислал послов своих к князю Михаилу и к гражданам, желая обмануть их, но они не послушали его...»

«В лето 1240 пришел Батый к Киеву в силе тяжкой со многим множеством силы своей и окружил город, и обнес его частоколом, и был город в стеснении великом. И был Батый у города, и воины его окружили город, и ничего не было слышно от гласа скрипения множества телег его, и от ревения верблюдов его, и от ржания табунов его, и была полна земля Русская ратными людьми».

«Киевляне же взяли в плен татарина, по имени Товрул. Братья его были сильные воеводы, и он рассказал обо всей силе их».

«Батый поставил пороки подле города у Лядских

ворот, где овраги. Пороки беспрестанно били день и ночь и пробили стены. И взошли горожане на стену, и тут было видно, как ломались копья и разбивались щиты, а стрелы омрачили свет побежденным».

«Когда же воевода Дмитр был ранен, татары взошли на стены и заняли их в тот день и в ту ночь. Горожане же воздвигли другие стены вокруг церкви святой Богородицы Десятинной. Наутро же пришли на них татары, и был между ними великий бой».

Даже небольшие рассказы летописи поражают чувством пространства и размеров описываемого. Даже рассказы об отдельных событиях кажутся выбитыми на камне или написанными четким уставом на прочнейшем пергаменте. В Древней Руси были масштабность и монументальность. Они были свойственны не только самим событиям, но и их изображению.

В древних русских летописях, в воинских повестях, во всей древней литературе была та монументальность, та строгая краткость слога, которая диктовалась сознанием значительности происходящего. Не случайно нашествие монголо-татар сравнивалось в летописях с событиями библейскими. Этим самым по-своему, посредневековому, давалось понять о значении событий, об их мировом размахе. Популярное в Древней Руси «Откровение Мефодия Патарского о последних днях мира» давало масштабность изображению. Летопись рассказывает о нашествии монголо-татар:

«Пришла неслыханная рать, безбожные моавитяне... их же никто ясно не знает, кто они и откуда пришли, и каков язык их, и какого племени они, и что за вера их... Некоторые говорят, что те народы, о которых Мефодий, епископ патарский, свидетельствует, что они вышли из пустыни Етревской, находящейся между востоком и севером. Ибо так говорит Мефодий: к скончанию времен явятся те, кого загнал Гедеон, и пленят всю землю от востока до Евфрата и от Тигра до Понтийского моря, кроме Эфиопии. Бог один знает их. Но мы здесь вписали о них, памяти ради о русских князьях и о бедах, которые были им от них».

Враги приходят «из невести», из неизвестности, о них никто раньше не слыхал. Этим подчеркивается их темная сила, их космически злое начало. Тою же монументальностью отличаются и повествования об отдель-

льных людях: о Данииле Галицком, черниговском князе Михаиле и боярине его Федоре, об Александре Невском. Их жизнь — сама по себе часть мировой истории. Они, как библейские герои, сознают значительность происходящего, действуют как лица истории, как лица, чья жизнь — часть истории Руси. Их мужество — не только свойство их психологии, но и свойство их осознания важности и значительности всего ими совершаемого.

Размеры событий, значение поступков, черты эпохи осознаются в исторической перспективе. К геройству зовут не только чувства, но и ум, сознание важности своего дела, сознание ответственности перед историей и всем народом. Так важно было осознавать себя частью целого — и в пространственном, и во временном смысле!

Понять те 900 дней обороны Ленинграда можно было только в масштабе всей тысячелетней истории России. Рассказы летописей как бы определяли размеры ленинградских событий. И мне стало ясно, что напомнить историю осад древнерусских городов остро необходимо. Это было ясно и М. А. Тихановой. Вот почему, работая над нашей книгой в разных концах города, не связываясь друг с другом даже по телефону или письмами, ибо ни телефон, ни почта не работали, мы все же писали так, что и теперь трудно нам сказать: кто из нас писал какую главу.

Было бы односторонним определять героический характер древней русской культуры, ограничиваясь только ее монументализмом. В русской культуре в целом есть удивительное сочетание монументальности с мягкой женственностью.

Монументальность принято обычно сближать с эпичностью. Эпичность действительно свойственна древнерусской литературе и искусству, но одновременно им свойственна и глубокая лиричность.

Женственная лиричность и нежность всегда вплетаются во все оборонные темы древнерусской литературы. В моменты наивысшей опасности и горя вдруг неожиданно и поразительно красиво начинает слышаться голос женщины.

С наступающими врагами сражаются не только воины — борется народ. И как последняя подмога при-

ходят женщины. Именно они строят вторые стены позади разрушенных, как это было в Киеве во время нашествия Батыя или во Пскове при нашествии Стефана Батория. Именно они выхаживают раненых, уносят и погребают тела убитых. И именно они осмысляют в своих плачах случившееся.

Русские женские плачи — необыкновенное явление. Они не только изъявление чувств, они — осмысление совершившегося. Плач — это отчасти и похвала, слава погибшим. Плачи проникновенно понимают государственные тревоги и самопожертвование родных, значение событий. В них редки упреки. Плачи по умершим — в какой-то мере ободрение живым.

Не случайно и в «Слове о полку Игореве» в момент тягчайшего поражения, когда Игорь пленен, на стены Путивля всходит Ярославна и плачет не только по Игорю, но и по его воинам, собирается полететь по Дунаю, утереть кровавые раны Игоря.

Русские плачи — это как бы обобщение происшедшего, его оценка.

Вот почему и летопись, выполненная по заказу ростовской княгини Марии в XIII в. после монголо-татарского нашествия, тоже может быть отнесена к огромному плачу: плачу не в жанровом отношении, но «по идее». Это своего рода собрание некрологов: по ее отце Михаиле Черниговском, замученном в Орде, по ее муже Васильке Ростовском, мужественно отказавшемся подчиниться врагам, по князе Дмитрии Ярославиче и по многим другим.

Так было и в Ленинграде. Мужество вселялось сознанием значительности происходящего и пониманием живой связи с русской историей. Мужество проявляли женщины Ленинграда, строившие укрепления, носившие воду из прорубей на Неве и просто стоявшие ночами в очередях в ожидании хлеба для своей семьи. Женщины же зашивали в простыни умерших, когда не стало гробов, ухаживали за ранеными в госпиталях, плакали за своих мужей и братьев и по ним.

И как значительно в этом национально-историческом плане, что осада Ленинграда раньше всего нашла свое отражение в плачах-стихах женщин — Ольги Берггольц, Анны Ахматовой и Веры Инбер.

Надписи Ольги Берггольц выбиты на тяжелых кам-

нях Пискаревского кладбища. Ольга Берггольц вернула литературе камни как материал для письма. Ее голос множество раз звучал в эфире и слышался по всей стране...

Звучал в эфире голос Веры Инбер и однажды Анны Ахматовой, читавшей свое стихотворение «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет...

Тысячелетняя русская литература сумела воплотить в своих многочисленных произведениях иноземные нашествия, неслыханные осады, страшные поражения, обернувшиеся конечными победами, — победами духа, победами мужества, — мужества присущего не только мужчинам, но в час жесточайших испытаний и женщинам...

Поразительно, как национальные традиции связывают литературу поверх всех столетий в единое, прочное целое.



Миша и Митя (справа) Лихачевы
(Крым, 1912 г.)



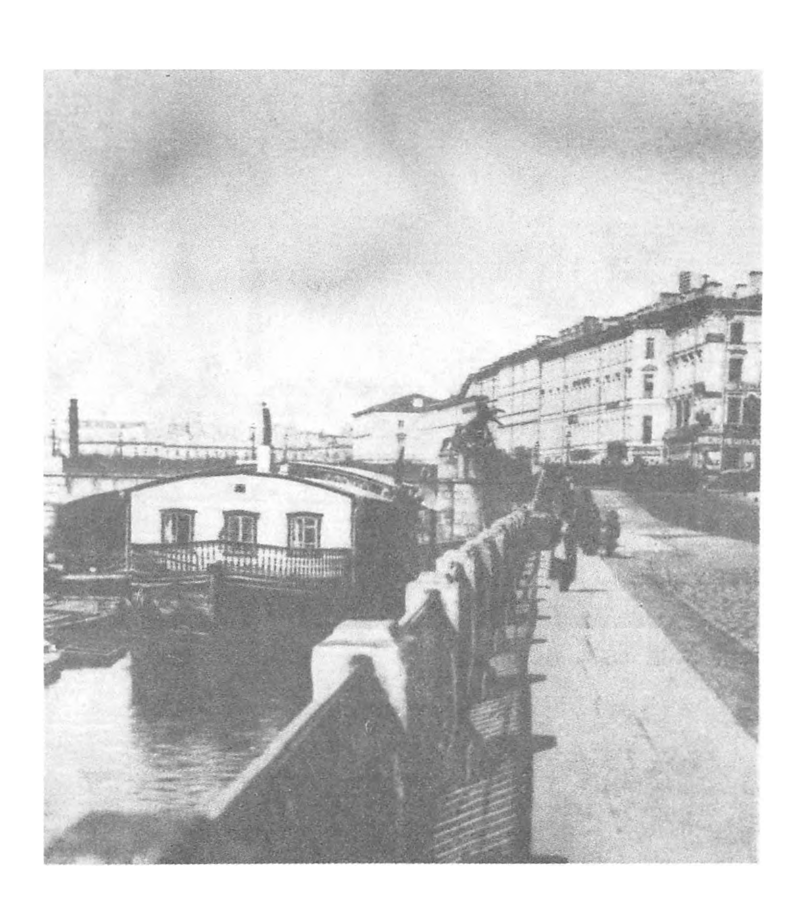
Бабушка Д. С. Лихачева Прасковья
Алексеевна с сыном Сережей



Вера Семеновна Лихачева
(в девичестве Коняева) и Сергей
Михайлович Лихачев с детьми:
Митей и Мишей (Куоккала, 1907 г.)



Сергей Михайлович Лихачев (жених) и Вера Семеновна Коняева (невеста) (1900 г.)



Петербург. На набережной реки
Фонтанки у Аничкова моста

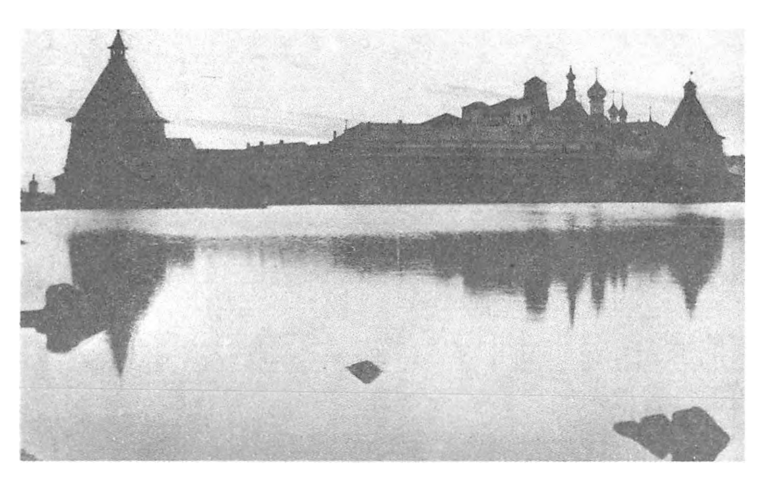
Петербург. Фондовая биржа



Петербург. Невский проспект

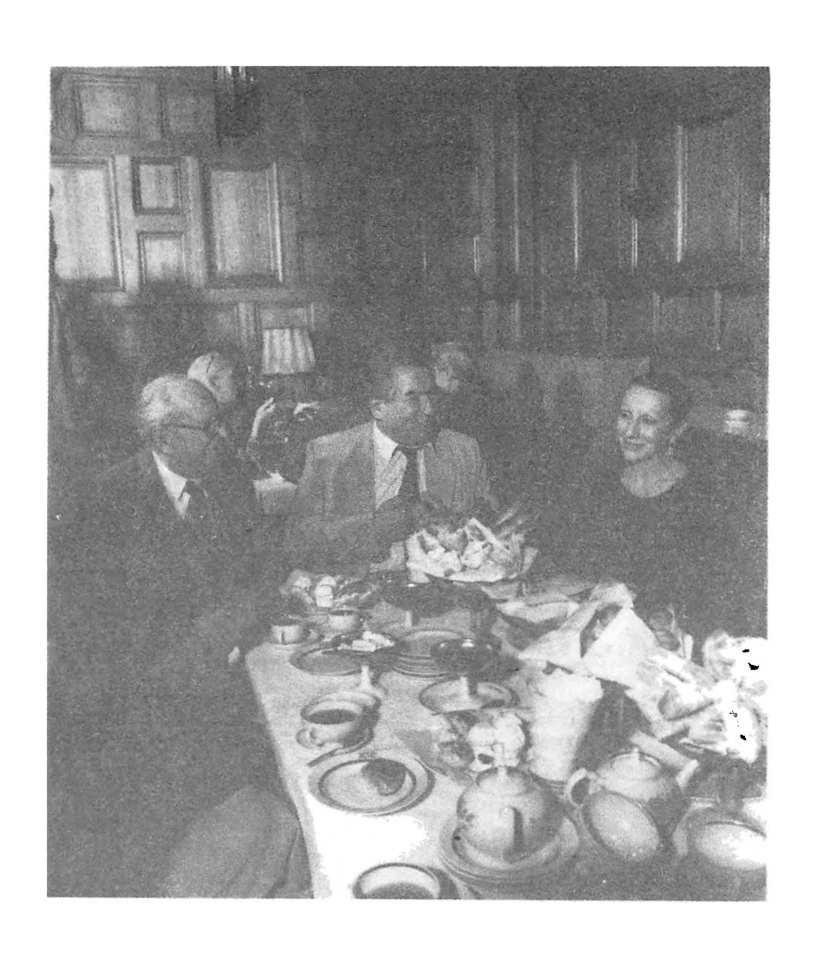


Петербург. Большая Морская улица



Соловки. Вид на Соловецкий кремль со стороны Святого озера.

Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала (1932 г.)

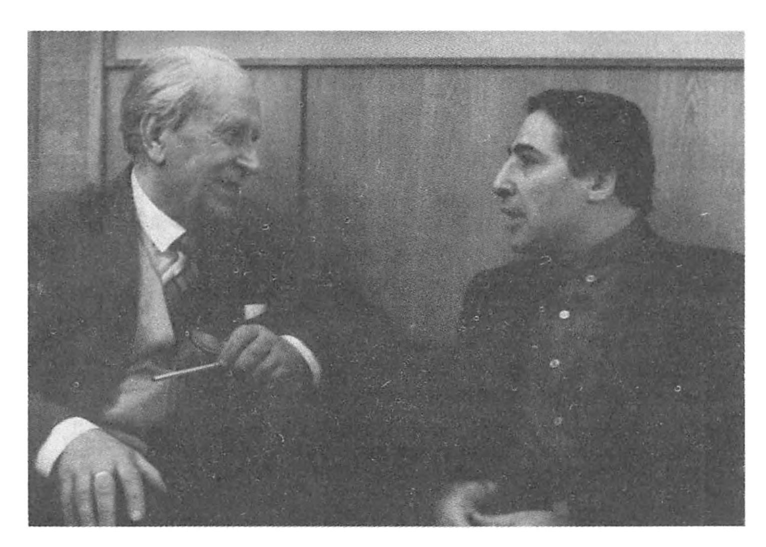


Встреча участников Международного
Иссык-Кульского форума
с писателями и критиками
в Центральном Доме литераторов
(слева — Д. С. Лихачев)

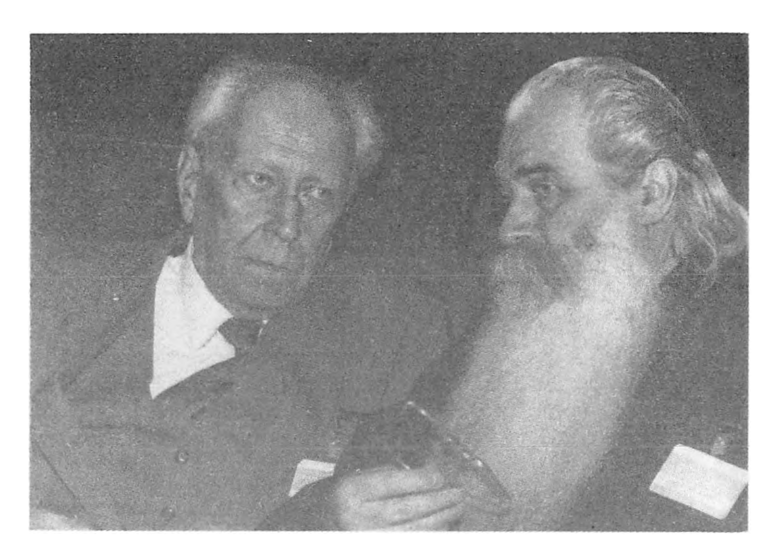


В перерыве между заседаниями
VIII съезда писателей СССР.
Д. Лихачев и В. Каверин (Москва,
Кремль, 1986 г.)

Д. С. Лихачев (2-й слева) среди
участников международного
форума «За безъядерный мир, за
выживание человечества»
(Москва, 1987 г.)



Д. С. Лихачев и сирийский писатель Саид Хаурани — участники международной конферснции, посвященной 800-летию «Слова о полку Игореве» (Москва, 1986 г.)



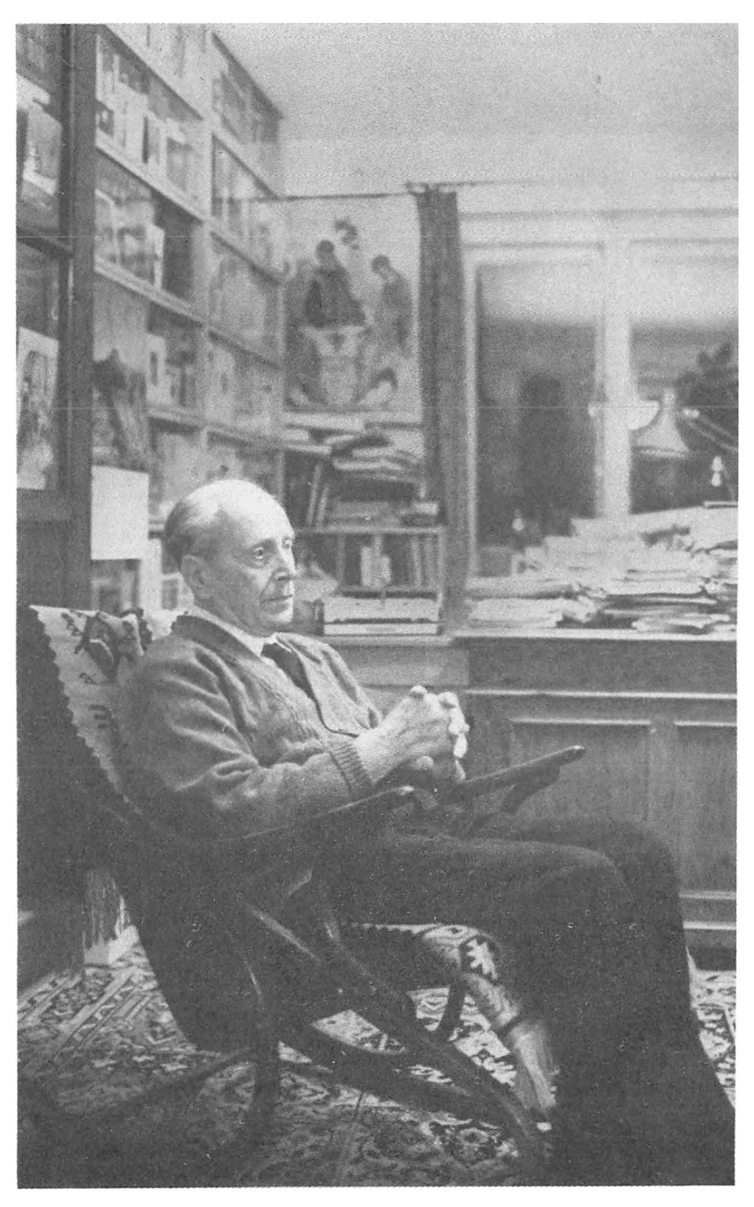
Д. С. Лихачев и митрополит
Волоколамский и Юрьевский
Питирим.



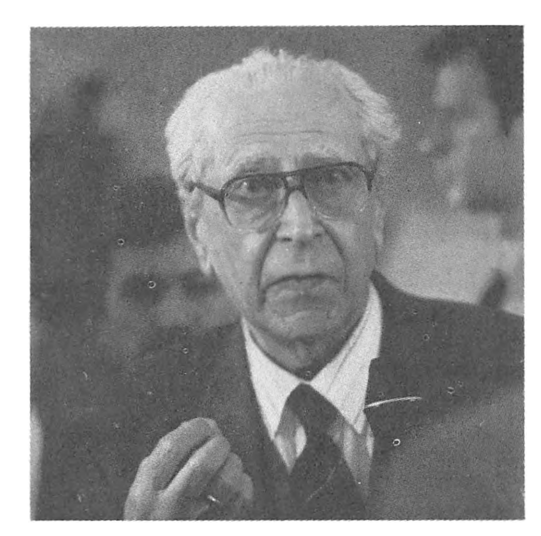
Заседание правления Советского
фонда культуры ведет Д. С. Лихачев
(Москва, 1987 г.)



Н. Рейган и Д. Лихачев во время прогулки по Ленинграду (1988 г.)

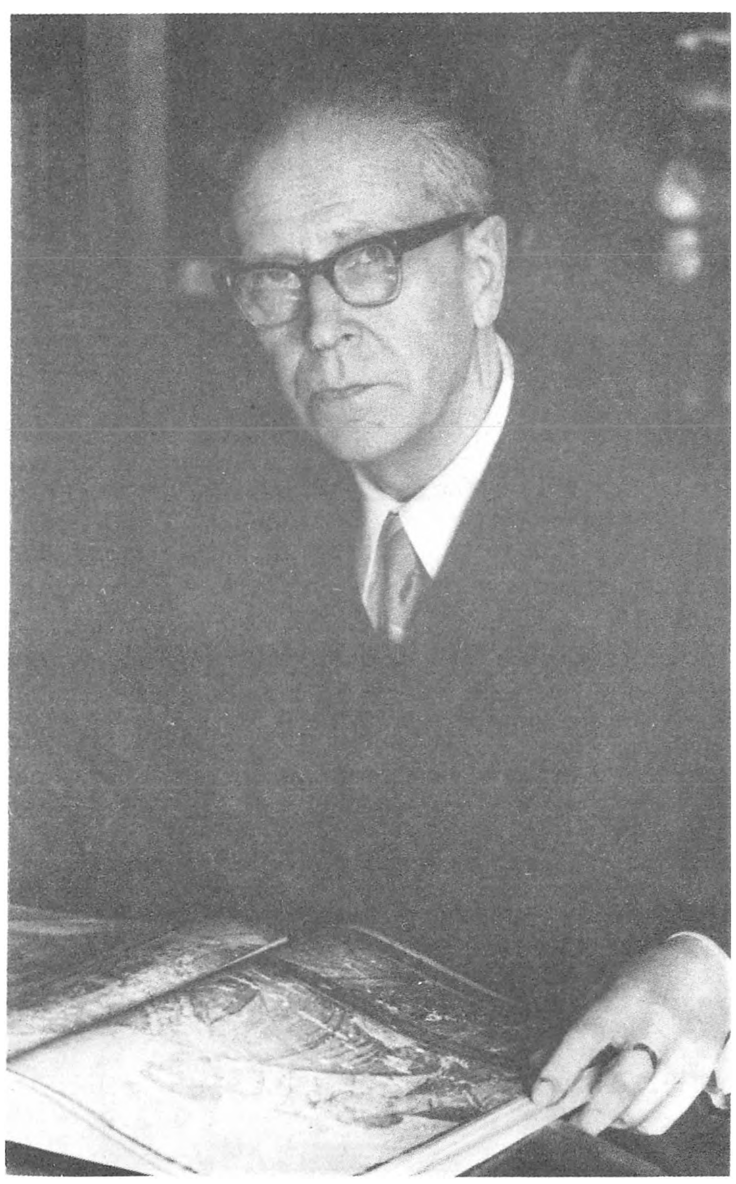


В часы отдыха



Д. С. Лихачев на II Съезде народных депутатов СССР (Москва, 1989 г.)

Д. С. Лихачев на берегу Невы



Д. С. Лихачев — лауреат премии
Кирилла и Мефодия (НРБ)

2

ТРЕВОГИ СОВЕСТИ

статьи
беседы
интервью

Я ведь не пророк и не проповедник, хотя убеждать и призывать в последние свои годы приходится часто.

Д. С. Лихачев

ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ ГРАЖДАНИНА МИРА *

В нашем сложном и взаимозависимом мире предостаточно тревожных, не оставляющих равнодушным проблем. И все же на вопрос, какая из них «самая-самая», отвечу: перемена психологии людей, наступившая в XX в., — дегуманизация. Ужасные войны и испытания, которые перенесли народы, привели к кризису гуманизма. Сегодня преобладает рационалистское мышление, и многие думают преимущественно о том, как бы прожить собственную жизнь.

Характерный пример: малодетность интеллигенции. Если кто-нибудь сейчас и имеет много детей, то только не представители интеллигенции. В тех районах и городах, где раньше главным образом «растили» интеллигенцию, сегодня закрываются школы — нет детей! Дело не в том, что отдельные нации множатся, а другие нет. Дело в том, что в мире перестают воспроизводиться люди с обостренным чувством ответственности. Понятно, что родителями движет страх за детей. Вот и не желают иметь их, дабы не подвергать угрозе гибели в возможной ядерной войне. В результате происходит общее снижение культуры во всем мире, во всех странах, обусловленное падением, так сказать, количественных и качественных параметров интеллигенции. А интеллигентность — проблема не только воспитания и образования, но и генетическая.

Вместе с тем человечество вооружено открытиями современной техники невероятно убойной, как говорят военные, силы. Техника же, когда ею не руководят люди ответственные, совестливые, интеллигентные, мо-

---

* В основу этой статьи положено выступление Д. С. Лихачева на международном форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» в феврале 1987 года. — *Прим. ред.*

жет представлять собой очень большую опасность. И вот меня беспокоит, что само накопление смертоносного оружия и постоянная угроза войны уже уничтожают людей. Уничтожают, сокращая рождаемость.

Я не верю в возможность атомной войны. Потому что простым нажатием кнопки, думаю, надеюсь, нельзя начать войну, как это утверждают. Все-таки предусмотрены какие-то технические средства безопасности. И еще, а вернее — прежде всего, уповаю на чувство ответственности тех людей, чьи руки лежат на этой кнопке. Не могу представить, что кто-нибудь возьмет на себя грех уничтожить все человечество, и надеюсь, к ядерному оружию не будут допущены психически неуравновешенные люди. Правда, само накопление ядерного оружия меняет нашу психологию. И меняет к худшему.

Где выход из такого положения? Человечество должно почувствовать свое единство в сфере культуры. Нужно ясно осознать, что культурные ценности, накопленные народами, не принадлежат какому-нибудь муниципалитету, музею, ведомству или даже отдельной стране. Они принадлежат всему человечеству. И поэтому первый практический шаг, как мне кажется, должен заключаться в объединении всех людей культуры. Но объединить их надо не в какое-то замкнутое сообщество, где бы рассуждали, как сохранить культуру. Объединить нужно для того, чтобы создать юридический кодекс ее защиты.

Мы должны думать и о культуре инков, и о культуре африканских народов. И о Кижах на Онежском озере, и о Томске в Сибири. И об Анкаре в Турции, и об Ангкоре в Кампучии *. Каждое из этих памятных мест принадлежит не турецкому государству, не советскому и кампучийскому государствам, они — достояние человечества. Все земляне за них ответственны. И должен быть создан Интернационал культуры. Таково мое глубокое убеждение.

И кроме того, вот что мне кажется очень существенным. Человек в ответе не только за собственное выживание. Ведь вопрос стоит о спасении всего многообразия жизни (кому бы она ни принадлежала — рыбам,

---

* Ныне Государство Камбоджа. — *Прим. ред.*

птицам, насекомым, растениям), которая и есть высшая ценность. Но единственное живое существо на земном шаре, наделенное даром слова, — Человек. Он, обладающий речью и сознанием, — единственная надежда всей жизни на Земле.

Вот я и предложил создать юридический кодекс защиты прав животных. Ведь они зависят от нас и ждут нашей протекции. Имею в виду не только китов и зубров. Словом, не только тех, кто в Красных книгах, потому что эти книги фактически ничего не охраняют. Нужно создать юридический кодекс защиты прав всего сущего.

Не утопия ли это — сохранить жизнь на планете? Я так не считаю. Верю, что общественное мнение способно эффективно воздействовать на правительства в нужном направлении. Я бы только несколько расширил понятие «общественное мнение». Нужна перестройка нашего мышления. И она уже началась. Она же повлечет изменение нашего поведения.

Убежден, что жизненно необходимы такие труды, как История человеческой совести. При условии: ее должны писать люди действительно совестливые. И еще. Ни в коем случае нельзя доверять создание такого труда какой-то организации или коллективу авторов. Не верю в коллективные труды, не верю в то, что «Сикстинскую мадонну» мог бы написать коллектив художников. Я верю в индивидуальность человеческого гения. История человеческой совести может быть интересной только в том случае, если ее напишут талантливые индивидуальности и если в ней отразится совесть авторов.

Нужно, чтобы за такой труд взялись крупные общественные и философские умы разных стран. История совести должна быть и историей ошибок — отдельных государств, политиков, и историей совестливых людей и совестливых государственных деятелей. Поэтому я стою за написание многих трудов по истории человеческой совести. История литературы — прекрасно! История искусства — прекрасно! Но умы сейчас должна занимать история человеческой совести.

Представляю ее себе не как узконаучный труд, который никто не будет читать, а как произведение, подытоживающее все доброе, что есть в цивилизации. Не ис-

ключая религию, литературу, искусство, науку. Совесть, как она выражена в фольклоре и языке, как она проявилась в защите малых народов. Я особенно это подчеркиваю. Ведь человечество страдает еще и от того, что крупные народы с мировыми языками кое-где поглощают малые, с их бесценными сокровищами — фольклорными и лингвистическими, с обычаями и историей. Они исчезают на наших глазах бесследно. Есть очень много народов, которые насчитывают по 600—700 человек. Говорят, даже где-то на востоке Сибири есть народность, от которой сохранилось только двое. Нужно во что бы то ни стало записать их язык, так как это одна из величайших ценностей.

История совести должна создаваться под знаком борьбы со всякого рода национализмом — страшной опасностью наших дней. Настало время мыслить категориями макросоциума. Каждый должен воспитать в себе Гражданина мира — независимо от того, в каком полушарии и стране он живет, какого цвета его кожа и какого он вероисповедания.

Это ничуть не во вред национальным, патриотическим чувствам людей. Приведу наглядный житейский пример. Если в семье все любят друг друга, то к ней тянутся и другие семьи, она богата на друзей. Вот такими мне представляются и отношения народов. Если люди в своей стране будут любить, ценить все лучшее, что у них есть, они неизбежно сохранят дружественные отношения и с остальными народами. Будут ценить и уважать то, что создано другими.

Так что доброта внутри нации есть доброта и к другим нациям. Это взаимозависимые вещи. Всякого рода национализм я рассматриваю как психологическую ненормальность. Даже, сказал бы, психиатрическую ненормальность, потому что она иногда идет от чувства собственной неполноценности. Если народ действительно уважает себя, он застрахован от комплекса неполноценности и никогда не потеряется, не растворится среди других. Такова абсолютная истина: общение народов между собой способствует развитию их собственных культур. Эту мысль я много раз повторял и считаю необходимым повторять еще и еще, потому что она по-прежнему актуальна.

Прожив 80 лет, с глубоким сожалением вижу: после

трагического опыта фашизма, нацизма рост национализма продолжается. Не могу этого понять. Причем уроков не извлекают и ошибки повторяют те, кто в прошлом сам страдал от национализма... Это противоречит рассудку.

Не думаю, что перелом в нашем мышлении, понимание всеми глобальных задач выживания, осознание неотложной необходимости покончить с потребительским отношением к миру и природе произойдут при моей жизни. Для этого понадобятся еще десятки лет. Дело очень непростое, но иного разумного пути нет.

Я верю в высший разум, потому что, наблюдая за Природой, за деятельностью людей, интересуясь различными науками, вижу, насколько целесообразно устроен мир. Потому и выступаю против бездумного поворота рек и других опрометчивых попыток сделать лучше, чем создала Природа.

В Природе все устроено так, что не приходится сомневаться: существует какой-то необыкновенный разум, действовавший миллионы лет, предоставивший Природе свободу, которая не равнозначна хаосу, ибо она, в общем, привела к очень важным и хорошим результатам. Не хочу, чтобы эти результаты менялись.

Думаю, к мысли о существовании такого разума приходят очень многие. Это не значит, что нужно ходить в какую-либо церковь или молитвенное учреждение. Меня совершенно неверно поймет тот, кто в сказанном узрит нечто идеалистическое, религиозное, мистическое. Ничего подобного. Дело заключается в другом: в осознании, что Природа имеет высший разум, который непросто переделать. И не переделывать нужно, а искать гармонии с Природой — вот к чему я призываю! А для этого прежде надо добиться гармонии среди всех нас — обитателей планеты Земля. Я в это верю, потому что верую в Разум и Совесть Человека.

1987

ТРЕВОГИ СОВЕСТИ

Честь истинная — всегда в соответствии с совестью.
Честь ложная — мираж в пустыне, в пустыне человеческой души.
И мираж вредный, созидающий ложные цели, ведущий к расточительству, а иногда и к погибели подлинных ценностей...

Когда-то, очень давно, мне прислали важное издание «Слова о полку Игореве». Я долго не мог понять: в чем дело? В институте расписались в том, что книгу получили, а книги нет. Наконец выяснилось, что взяла ее одна почтенная дама. Я спросил даму: «Вы взяли книгу?» «Да, — отвечает она. — Я ее взяла. Но если вам она так нужна, я могу ее вернуть». И при этом дама кокетливо улыбается. «Но ведь книга прислана мне. Если она вам нужна, вы должны были ее у меня попросить. Вы же поставили меня в неловкое положение перед тем человеком, который ее прислал. Я даже не поблагодарил его».

Повторяю: давно это было. И можно было бы забыть об этом случае. Но все-таки вспоминаю иногда о нем — жизнь напоминает.

Ведь действительно, кажется, какой пустяк! «Зачитать» книгу, «забыть» вернуть ее владельцу... Сейчас это стало как бы в порядке вещей. Многие оправдываются тем, что мне, мол, эта книга нужнее, чем владельцу: я без нее обойтись не могу, а он обойдется! Распространилось новое явление — «интеллектуального» воровства, вроде бы вполне извинительного, оправдываемого увлеченностью, тягой к культуре. Иногда даже говорят, что «зачитать» книгу — это вовсе не воровство, а признак интеллигентности. Подумайте только: бесчестный поступок — и интеллигентность! А не кажется ли вам, что это попросту дальтонизм? Нравственный дальтонизм: мы разучились различать цвета, точнее — отличать черное от белого. Кража есть кража, воровство есть воровство, бесчестный поступок остается бесчестным поступком, как бы и чем бы они ни оп-

равдывались! А ложь есть ложь, и, в конце концов, я не верю, что ложь может быть во спасение.

Ведь даже проехать «зайцем» в трамвае — это то же воровство. Нет малой кражи, нет малого воровства — есть просто воровство и просто кража. Не бывает малого обмана и большого обмана — есть просто обман, ложь. Недаром же говорится: верен в малом — и в большом верен. Когда-нибудь случайно, мимолетно вспомнится вам незначительный эпизод, когда вы поступились совестью в самом будто бы безобидном и ничтожном, — и вы почувствуете укор совести. И вы поймете, что если кто и пострадал от вашего пустякового, ничтожного поступка, то пострадали прежде всего вы сами — ваша совесть и ваше достоинство.

...Новое противостоит старому, хотя, может быть, не всякое новое лучше старого. Как свет противостоит мраку, так разум и мудрость противостоят невежеству и безрассудству. Это вечное противостояние. И если продолжить цепочку сопоставлений, вернее, противопоставлений, то звеньями ее должны связаться любовь и ненависть, жестокость и милосердие, вражда и мир, дружба и неприязнь и, конечно, правда и ложь. Окажется, таким образом, что вся наша жизнь находится в постоянном борении, в преодолении одними силами других. Это извечный закон, и, вероятно, не будь такого вечного противостояния, не существовало бы ни самой жизни, ни самого мира. Однако, когда нарушается в душах людских равновесие сил, противоборство обостряется.

Стали привыкать жить двойной жизнью: говорить одно, а думать другое. Разучились говорить правду — полную правду, а полуправда есть худший вид лжи: в полуправде ложь подделывается под правду.

Стала исчезать у нас совестливость. Говорю об этом, обязан говорить, потому что мне в своей жизни множество раз не по личным делам, а по таким, которые имеют огромное значение для сохранения нашей культуры, приходилось сталкиваться с людьми, у которых чувство совестливости отсутствовало.

Тот, кто бывал в Ленинграде, знает портик Руска — один из шедевров градостроительства в нашем городе.

5 942

Стоит он теперь не на своем месте, а чуть в стороне от общего порядка Невского проспекта. Как он тут оказался? Запланировано было строительство станции метро. Портик «мешал»: его собирались убрать. Я пришел к бывшему главному архитектору Ленинграда и как профессионалу объяснил ему, что портик Руска очень важен именно на этом месте, потому что он прямой перспективой связан с портиком Русского музея, что в этом и был градостроительный замысел Руска. Главный архитектор выслушал меня, не возразил, вызвал помощника и сказал: «Значит, надо обдумать положение. Вот Дмитрий Сергеевич Лихачев просит не разрушать портик Руска, и у него есть основания. Обдумайте, как тут быть, как, не разрушая, построить станцию метро». То есть до какой степени человек врал!

Полагаясь на его слово, я не стал обращаться к помощи прессы. Через некоторое время портик Руска был разрушен, а на все последующие недоумения главный архитектор отвечал: «А мы его и не разрушали. Мы его разобрали, мы его и восстановим».

И действительно — восстановили... Но ведь есть вещи невосстановимые, невоспроизводимые, например — колонна. Она — как живое тело, она ведь немножко неправильна: сужение кверху у колонны идет не по прямой линии. Колонна — скульптура... Что сейчас с портиком Руска? Внешне он как будто бы такой же, а все-таки колонны — не те. Кроме того, портик отнесен на несколько метров назад, и это уже меняет перспективу: исчезло противостояние Русскому музею. Вторжение в сложившийся архитектурный ансамбль нанесло ущерб Невскому проспекту.

Обычная тактика наших градостроителей — внезапность и темпы. Когда общественность поднимает свой голос в защиту памятников старины, которые предназначаются к сносу, градостроители делают вид, будто прислушались к этому голосу. Всячески успокаивают, чтобы усыпить бдительность — и нанести внезапный удар. Успешная, беспроигрышная тактика!

По этой тактике в одну ночь (или в один день) с лица земли в Ленинграде был стерт Пироговский музей. В нашем городе, пожалуй, нет здания, которое так рез-

ко вторгалось бы в ландшафт с открывающимся невским простором, как гостиница «Ленинград». Построена она на месте Пироговского музея. Музей был построен хотя и очень поздно, в конце XIX в., но все же в лучших архитектурных традициях Петербурга-Ленинграда. Архитектор, строивший его, понимал, что в этом месте нельзя возводить высокое здание, — он построил одноэтажное здание, и сзади виднелось вытянутое вдоль берега длинное двухэтажное здание Военно-медицинской академии. Пространство Невы как бы увеличивалось от того, что здания вдали были низкими и вытянутыми по берегу. Музей был поставлен правильно, у берега. Ко всему прочему, он был построен на народные деньги по подписке. Не наше право было его сносить. Однако повторилась та же история моих переговоров с главным архитектором: то же обещание «учесть» — и тот же обман.

Вроде бы горький опыт уроков должен был бы научить нас бережно относиться к культуре прошлого, к природе — беречь малый и большой мир, в которых мы живем и которые теснейшим образом взаимосвязаны. И вроде бы он чему-то научил нас... Но — научил ли? Вот в Москве, в заповеднике Коломенское, идет наступление Метростроя. Уже давно территория заповедника урезается под разными предлогами, а теперь предполагается построить станцию неглубокого залегания. Таким образом, один из важнейших историко-культурных заповедников. а вместе с ним и один из прекраснейших ландшафтов находятся под угрозой разрушения. Конечно, и на сей раз обошлось без мнения общественности.

А разве можно забыть совсем недавнюю историю, которая произошла в Ленинграде с домом Дельвига? Произошла она потому, что за сохранность исторических зданий у нас отвечает несколько организаций и согласие одной организации расходится с несогласием других. Метрострой — опять Метрострой! — получил согласие на снос дома Дельвига на Владимирской площади в ГлавАПУ. Думаю, дать такое согласие могли лишь те, кто не знает, кто такой Дельвиг, что такое дружба между Дельвигом и Пушкиным, кто не слышал о лицейской дате — 19 октября. Ибо именно 19 октября начали сносить дом Дельвига. Возле него собрались

школьники, читали стихи Дельвига, читали стихи Пушкина, ведь Пушкин и Дельвиг для них — это символы товарищества! Школьники поставили на каждом окне по свечке: это была панихида по дому Дельвига, это была настоящая трагедия юношеских чувств, достойная экранизации. Даже сами метростроевцы осознали, что они наделали, но ничем не могли помочь, дом уже был подкопан — и разрушался.

Когда-то, помните, герои Достоевского стремились в Европу, чтобы прикоснуться к древним камням. Не пора ли нам наконец прикоснуться к своим древним камням, к своей памяти, к своей культуре?

Правда, сейчас в общественном сознании происходят очень важные перемены: люди уже не стремятся изображать из себя упорных, последовательных, узких исполнителей чужой воли, что раньше считалось чуть ли не достоинством. Отношение к истории изменилось настолько, что защитники старины появились как раз из числа тех, кто раньше старину разрушал.

И это очень отрадное явление.

Я имею возможность сравнивать с иными годами и могу сказать, что временами общественное сознание становилось иным: честным людям было очень трудно. Сейчас оно изменилось и дает возможность выдвинуться хорошим людям, значит, и дурные люди вынуждены прятаться, маскироваться, скрывать свое озлобление, свои дурные качества, неблаговидные поступки. Им приходится притворяться хорошими, доброжелательными, воспитанными и т.д. Пусть притворяются: со временем их сменят подлинно хорошие, потому что — я верю в это — за переменой общественного сознания наступит перелом и в характерах людей. Будет больше по-настоящему добрых честных людей. В здоровом, открытом обществе при наших сегодняшних требованиях гласности, общественного обсуждения уже вряд ли кто пойдет на обман общественности, на принятие каких-то своих волевых решений, на анонимки или доносы. Это будет уже труднее.

Отсутствие совестливости у людей, занятых в хозяйстве, в экономике, наносит ущерб материальный. Отсутствие совестливости у людей, ответственных за

культуру, наносит ущерб, не выражающийся материально. Но если в экономике можно наверстать упущенное, то ущерб в культуре чаще всего невосполним. Впрочем, без перемены климата в нашей культуре и экономика не сдвинется ни на шаг.

Честь, порядочность, совесть — это качества, которыми дорожить нужно так же, как мы дорожим своим здоровьем, ибо без этих качеств и человек — не человек.

Я получил недавно письмо, в котором школьница пишет о своей подруге. Учительница литературы дала задание этой подруге написать сочинение об очень крупном советском писателе. И в этом сочинении школьница, отдавая должное и гениальности писателя, и его значению в истории литературы, написала, что у него были ошибки. Учительница сочла это неуместным и очень ее бранила. И вот подруга той школьницы обращается ко мне с вопросом: можно ли писать об ошибках великих людей? Я ей ответил, что не только можно, но и нужно писать об ошибках великих людей, что велик человек не тем, что он ни в чем не ошибался. Никто не свободен от ошибок в нашей жизни, в нашей сложной жизни.

Но еще и другая сторона есть в этом вопросе. Может ли ученица высказывать мнение, не соответствующее взглядам учителя? Мне кажется, что учитель должен поощрять самостоятельность мышления своих учеников. Потому что если он будет заставлять придерживаться только своего собственного мнения, то представьте, что может получиться с тем учеником, когда он выйдет из школы, окажется рядом какая-то сильная, но дурная личность, которая будет внушать ему свои мнения. Он не сможет им противостоять. Да ему нечего противопоставить, потому что у него нет ничего своего. Ведь если человек не умеет отстаивать свое мнение, а умеет только слушаться, он может послушаться дурного человека, забыв о совести и чести. И ведь бывает, что первые ученики, глядящие в рот своему учителю, потом оказываются на самом деле иногда и плохими людьми, у них нет самостоятельности, у них нет умения отстаивать свою точку зрения. Они привыкли слушать других, слушать только то, что им говорят, и повторять только то, что им говорит преподаватель. Умение отстаивать свою точку зрения — это же очень ва-

жно. И оно крайне важно в нашей государственной и общественной жизни. Только тогда мы сможем быть уверены, что человек не попадет под дурное влияние, будет жить по совести.

Совесть — понятие очень сложное, и, конечно, сложно требовать от каждого человека совестливости. Но требовать чести можно, потому что бесчестный поступок на виду, он явно замечается общественным мнением. Бесчестные поступки рождают разные обстоятельства. Допустим, человек не ищет личных выгод, привилегий, он хороший товарищ, хороший директор учреждения. Это ведь большое достоинство — быть хорошим товарищем и хорошим директором учреждения. И для того, чтобы учреждение получило дополнительные средства, фонды, он придумывает ему большую работу, которая, в сущности, неадекватна штатам. Он защищает штаты, защищает людей. Выполняет долг руководителя. Но все-таки нарушает закон чести, идет на сделку с совестью, хотя перед лицом своей личной совести он, может быть, и прав: ему удалось сохранить место Ивана Ивановича и Марьи Ивановны. Но тут возникает сложнейшее расхождение между долгом, честью и совестью.

Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать на различие между совестью и честью. Совесть подсказывает. Честь действует. Совесть всегда исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере человек очищается. Совесть «грызет». Совесть не бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком преувеличенной (крайне редко). Но представления о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные представления наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то, что называется «честью мундира». У нас исчезли такие несвойственные нашему обществу понятия, как, скажем, дворянская честь, но «честь мундира» остается. Точно человек умер, а остался мундир, с которого сняты ордена и внутри которого уже не бьется совестливое сердце. «Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные проекты, настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники людьми («наша стройка важнее») и т.д.

Честь истинная — всегда в соответствии с совестью.

Честь ложная — мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой (вернее — «чиновничьей») души. И мираж вредный, созидающий ложные цели, ведущий к расточительству, а иногда и к гибели подлинных ценностей.

Поэтому честь должна быть в гармонии с совестью. Честь и совесть надо рассматривать не только в плане личных отношений, но и в государственном масштабе. Если человек совершает добрые поступки, как это часто бывает, не за свой счет, а за счет государства, то это уже не доброта, не бескорыстие, а делячество и хитрость.

В чем выражается внутренняя честь? В том, что человек держит слово. И как официальное лицо, и просто как человек. Ведет себя порядочно — не нарушает этических норм, соблюдает достоинство, не пресмыкается перед начальством, перед любым «благодающим», не подлаживается к чужому мнению, не упрямится, чтобы доказать свою правоту, не сводит личные счеты, не расплачивается с нужными людьми за счет государства различными поблажками, устройством на работу нужных людей и так далее. Вообще умеет отличать личное от государственного, субъективное от объективного в оценке окружающего.

Честь — это достоинство нравственно живущего человека.

Вот в «Литературной газете» не так давно была напечатана хорошая статья о том, что на выборах надо выдвигать не одного, а нескольких кандидатов. И это правильно. Это очень важно, потому что тогда человек, которого выбрали в органы государственной власти, будет активен, будет дорожить своей репутацией и своей честью, он будет знать, что если станет трудиться не на благо общества, а только ради собственных привилегий и выгод, то в следующий раз выберут другого.

Да и просто руководитель, который запятнал свою честь хитростью или обманом, должен быть снят со своего поста. Ему нельзя быть руководителем, пусть он и обманывал ради интересов своего учреждения.

В последние годы особенно остро мы почувствовали недостаток, дефицит гражданской совести. Не то чтобы в нашей общественной жизни скопилось так

много пороков, неприглядных явлений; не то чтобы слишком много людей оказались замешанными в махинациях, в неблаговидных поступках и эти неблаговидные поступки слишком долго оставались безнаказанными. Мы почувствовали дефицит гражданской совести потому, что молчали. Вроде бы были и объективные причины у нашего молчания: совершавшие дурные поступки люди занимали ключевые посты. И тем не менее это не снимает ответственности и с нас самих, не оправдывает и нашей с вами вины. Мы же все видели — и... молчали. Молчала наша совесть.

Что же мы — боялись? В правде нет страха. Правда и страх — несовместимы. Мы должны бояться только своих порочных мыслей, мыслей, неуважительных по отношению к нашим друзьям, неуважительных по отношению к любому человеку, к нашей Родине. У нас должен присутствовать единственный страх: страх лжи. Вот тогда и будет в нашем обществе здоровая нравственная атмосфера.

С самого начала, как только повеяло ветром перемен, некоторые стали поговаривать, что продержится это недолго, что перестройка — явление временное, что это якобы очередная кампания. Так они пытались успокоить самих себя и окружающих. И разумеется, они ждали — и сейчас еще ждут, — что волна пойдет на убыль, на спад. Кое-кто предпочитал присмотреться, в какую сторону подует ветер. Наблюдались, одним словом, и настороженность, и растерянность, и хотя не явное, но все же вполне ощутимое желание противодействовать тому подъему, который охватил наше общество. А это ведь — настоящий подъем!

Вы посмотрите, что происходит в нашей литературной жизни, какое оживление в ней: на глазах меняется атмосфера. Стали появляться публикации произведений писателей, которые по тем и или иным причинам длительное время не печатались (я не говорю о том, что они были преданы забвению — забыты они не были никогда). Читатели, по крайней мере подавляющее их большинство, доброжелательно встретили публикации. Однако раздались и голоса: зачем нам это нужно? Кое-кто из «чиновников от литературы» —противни-

ков обновления — прибегает к недозволенным приемам: в качестве как бы некоего аргумента на первый план выставляются сложности пути, сложности биографий этих писателей или поэтов, как, скажем, Гумилева, или же наименее удачные их произведения, уязвимые стороны их творческих дарований, и на этом основании делаются выводы о мнимой «вредности» их творчества, «вредности» их взглядов для наших читателей. Тут уместно напомнить, как Ленин отнесся к острейшей сатире Аверченко, вопреки ее недоброжелательности: посоветовал перепечатать некоторые рассказы, назвав их талантливыми.

И если мы издадим неопубликованные произведения Андрея Платонова «Чевенгур» и «Котлован» *, некоторые все еще остающиеся в архивах произведения Булгакова, Ахматовой, Зощенко, то это, как мне кажется, тоже будет полезно для нашей культуры.

Мне совсем недавно привелось прочесть роман Пастернака «Доктор Живаго». Меня попросили написать о нем статью, и я ее написал. Я вспоминаю: мнение об этом романе в свое время высказали наши уважаемые писатели. Но вот о чем я подумал, читая роман: многое сейчас воспринимается по-иному, и, видимо, он нуждается в новой оценке, как это мы делали по отношению к некоторым другим произведениям нашей литературы.

Помните? Двадцать лет назад вошел в нашу жизнь Булгаков со своей острейшей и веселой сатирой, со своим романом «Мастер и Маргарита». Так что же произошло? Случилось что-нибудь? Да, случилось: мы получили прекрасное произведение, которое «работает» на нас, а не против нас! Нам нужна сатира — острая, бичующая наши пороки и веселая. Она нам будет помогать!

Нам давно пора было начать «разгребать» архивные «залежи», широко открыть двери для той литературы, которую мы так долго замалчивали. Вернуть ее народу, нашей культуре. Это и неизбежность, и необходимость. Благодаря тому, что журналы стали публиковать «залежавшиеся» в архивах произведения, созда-

---

* «Чевенгур» и «Котлован» А. Платонова изданы в конце 80-х годов. — *Прим. ред.*

ются благоприятные условия и для развития литературы современной: возрастает культура — повышается уровень требований к тому, что пишется сегодня. Произведениям серым, проходным, конъюнктурным, роняющим достоинство литературы, не выдержать духа соперничества с произведениями высокой культуры, требовательного нравственно-этического содержания. А разве не радость то, что мы широко открываем двери для нашей богатейшей литературы и прошлого, и настоящего?! А разве не радость сознание того, что торжествует справедливость и дань должного воздается тем писателям, к творчеству которых мы так долго и упорно относились с несправедливой и унижающей наше достоинство подозрительностью!

Вместе с тем как ученый я могу согласиться с тем, что подобным публикациям вредна атмосфера ажиотажа, некоего «бума». Они должны стать обычным делом, как всякая нормальная, естественная работа, но работа последовательная и непрерывная, без всяких заминок и пауз. Между тем здоровая мысль о том, что не следует создавать «бума», ажиотажа, особенно в юбилейном году, иногда понимается превратно, под этим флагом в иных журналах и издательствах «перекраиваются» планы, выбрасываются произведения, которые столь долгое время ждали своего часа и которых ждали и ждут читатели.

Наша сегодняшняя литература необычайно богата и разнообразна. Однако на литературном небосклоне наряду с заметными, действительно заметными, явлениями немало и ложных звезд; якобы крупнейшие наши писатели на самом деле оказываются пустышками. Я знаю случай, когда никто не хотел подписываться на собрание сочинений одного такого писателя. Выход был найден: подписка чуть ли не в приказном порядке была разверстана по всем армейским библиотекам. Но зачем эти «сочинения» (добро бы они были на военную тему!) в армии, если они не нужны читателям гражданским!

Лет двадцать тому назад в Отделении литературы и языка АН СССР украинский ученый-статистик выступил с очень интересным сообщением о резком падении

чтения классики. Думали, что оно в какой-то мере вызвано падением уровня культуры или падением читательского спроса на классику. Оказалось — ничего подобного: интерес и спрос есть, и они вовсе не понизились, а попросту издательства выпускают книги современных писателей за счет классики! И ведь посмотрите: сколько словесного мусора выпускается! Об этом говорилось на писательском съезде, правда, к сожалению, в довольно отвлеченной форме: никто не говорил о том, почему выпускаются серые произведения. А сказать надо: потому, что их авторы принадлежат к категории так называемых влиятельных людей в Союзе писателей. От них зависит издательство «Советский писатель», они могут потребовать, чтобы и «Художественная литература» выпускала их собрания сочинений. Сколько ныне живущих писателей обзавелись «собраниями» в пяти, а то и в десяти томах! Между тем тридцатитомное собрание сочинений Достоевского выпускается вот уже пятнадцать лет! Допустимо ли это? Конечно, недопустимо. А попробуйте свободно купить Лескова, Бунина, да даже Пушкина, Гоголя, Лермонтова — то, что составляет нашу национальную гордость. Не купите. Сейчас выходит собрание сочинений замечательного писателя Михаила Зощенко. Но сколько усилий понадобилось для того, чтобы «пробить» его! Когда же зашел разговор о том, чтобы включить в собрание повесть «Перед восходом солнца», один из ответственных работников издательства заявил членам комиссии по литературному наследию Зощенко: «Повесть включать нельзя, о ней говорилось в постановлении, а постановление никто не отменял». «Да вы прочтите повесть! В ней нет никакого «криминала»!» — настаивали члены комиссии. «Мне незачем читать повесть. Я читал постановление».

К счастью, впоследствии все-таки удалось вернуть повесть в собрание сочинений, из которого она была выброшена.

Для меня лично нет никакого сомнения в том, что нам нужно научиться признавать собственные ошибки, ибо признание ошибки не только не умаляет достоинства и человека, и общества, а, напротив, вызывает чувство доверия и уважения как к человеку, так и к обществу.

Литература — это совесть общества, его душа. Честь и достоинство писателя состоят в том, чтобы правду, право на эту правду отстаивать при самых неблагоприятных обстоятельствах. Собственно, для писателя даже вопрос не стоит: говорить правду или не говорить? Для него это значит: писать или не писать. Я как специалист по древней русской литературе могу с убежденностью сказать, что русская литература не молчала никогда. Да и разве можно считать литературу литературой, а писателя писателем, если они обходят правду, замалчивают ее или пытаются подделаться под нее? Литература, в которой не бьется тревога совести, — это уже ложь. А ложь в литературе, согласитесь, — худший вид лжи.

Хотя есть у нас замечательная литература, замечательные писатели (не буду называть их, вы их прекрасно знаете), все же это открытия, в общем-то, двадцати-тридцатилетней давности. Мы не обрели новых крупных открытий за последние годы. В литературе за последние десятилетия возобладал дух потребительства. Появилась тенденция писать «на продажу», то, что пройдет наверняка. Мне не раз приходилось слышать сетования, что вот, мол, не печатают.

Вас не печатают? Ну и что! Да вы пишите: напечатают, если напишете стоящее. Услышат ваш голос, услышат голос вашей совести. Терпение — мать мужества, а мужеству нужно учиться. Его нужно воспитывать. Нужно закалять себя, закалять свой талант, свой дар. Творчество требует мужества. Творчество — не слава, не лавры. Это тернистый путь, требующий полной самоотдачи.

Я не согласен с тем, что писатель — это профессия. Писатель — это судьба. Это жизнь. Свой гонорар писатель может получать только в результате огромного труда. У нас же писательство рассматривается как своего рода «кормушка»: выпускают книжки, локтями пробивают себе дорогу в Союз писателей, чтобы нигде не работать, забывая о том, что хлеб искусства — черствый и трудный хлеб.

Почему, например, прекрасный болгарский поэт Атанас Далчев за всю свою жизнь выпустил всего несколько поэтических произведений? Поэзия не была для него средством заработка. И все произведения, кото-

рые он выпустил, — первоклассные. Мы же в погоне за гонораром утратили чувство краткости. И не только краткости: мы забыли о том, что литература — это учительство и ее миссия — просветительство, то, что изначально составляло ее сущность. Да разве Пушкин, когда писал «Капитанскую дочку», мог думать о гонораре, о том, что ее нужно разогнать до размеров огромного романа? На первый план он ставил свое творчество, свою честь — честь литературы, которой он служил, хотя ведь и ему, как мы знаем, приходилось заботиться о гонораре.

Я приведу другой пример, более близкий нам, случай из жизни Андрея Платонова, о котором мне рассказали. Платонов, как известно, не был избалован вниманием издательств. Печатали его мало, трудно. Больше ругали. И вот в 30-е годы, получив более чем скромный гонорар, Андрей Платонов встретил в издательстве другого писателя, который в те годы был «в чести». Его коллега, потрясая пачками денег, которые едва помещались у него в пригоршнях, обратился к Платонову: «Во как нужно писать, Платонов! Во как нужно писать!» Что же, Платонов, как мы знаем, ныне известен во всем мире, но если бы я назвал имя литератора, который «учил» Платонова, как нужно писать, то вряд ли кто из читателей вспомнил бы его.

Трудно жил Булгаков, трудно жила Ахматова, трудно жил Зощенко. Но трудности не сломили их волю к творчеству. Писатель, истинный писатель, не поступается своей совестью, даже если он терпит нужду и лишения.

Что человеку важно? Как прожить жизнь? Прежде всего — не совершить никаких поступков, которые бы роняли его достоинство. Можно не очень много сделать в жизни, но если ты не делаешь ничего, даже мелкого, против своей совести, то уже этим самым ты приносишь колоссальную пользу. Даже в обыденной нашей, повседневной жизни. А ведь в жизни могут быть и тяжелые ситуации, когда перед человеком стоит проблема выбора — быть обесчещенным в глазах окружающих или в своих собственных. Уверен, что лучше быть обесчещенным перед другими, нежели перед своей совестью. Человек должен уметь жертвовать собой. Ко-

нечно, такая жертва — это героический поступок. Но на него нужно идти.

Когда я говорю о том, что человек не должен идти против совести, не должен совершать с ней сделку, я вовсе не имею в виду, что человек не может или не должен ошибаться, оступаться. Никто не свободен от ошибок в нашей сложной жизни. Однако человека, который оступился, подстерегает серьезнейшая опасность: он нередко приходит в отчаяние. Ему начинает казаться, что все кругом подлецы, что все лгут и скверно поступают. Наступает разочарование, а разочарование, потеря веры в людей, в порядочность — это самое страшное. Как-то один мой сослуживец сказал, что он не верит ни одному человеку, что все люди — прохвосты. Оказалось, что когда-то, когда он очень нуждался, у него из письменного стола украли зарплату. Я понял, что и мне ему верить нельзя: человек, убежденный только в силе зла, может и сам украсть деньги из чужого стола.

Да, говорят: «Береги честь смолоду». Но если даже не удалось сберечь честь смолоду, ее нужно и можно вернуть себе в зрелом возрасте, переломить себя, найти в себе смелость и мужество признать ошибки.

Я знаю человека, которым сейчас все восхищаются, которого очень ценят, которого и я в последние годы его жизни любил. Между тем в молодости он совершил дурной поступок, очень дурной. И он мне рассказал об этом поступке. Сам признался. Как-то мы плыли с ним на теплоходе, и он сказал, опершись на поручни палубы: «А я думал, что вы со мной и разговаривать не станете». Я даже не понял, о чем он: мое отношение к нему изменилось гораздо раньше, чем он признался в грехах молодости. Я уже сам понимал, что он многое не осознавал из того, что делал...

Путь к раскрытию может быть долгим и трудным. Но как же украшает мужество признать свою вину — украшает и человека, и общество.

Тревоги совести... Они подсказывают, учат, они помогают не нарушать этических норм, сохранять достоинство — достоинство нравственно живущего человека.

1987 *Запись Н. Тюльпинова*

РОССИЯ

1

То, что я скажу в этой заметке о русской культуре, — это мое сугубо личное мнение, я его никому не навязываю. Но право рассказать о своих самых общих, пусть и субъективных впечатлениях дает мне то, что я занимаюсь Русью всю свою жизнь и нет для меня ничего дороже, чем Россия.

Россию упрекают. Россию восхваляют. Одни считают ее культуру несамостоятельной, подражательной. Другие гордятся ее прозой, поэзией, театром, музыкой, иконописью... Одни видят в России гипертрофию государственного начала, а народ воспринимают как покорный. Другие отмечают в русском народе анархическое начало и постоянное бунтарство, неприятие власти. Одни отмечают в нашей истории отсутствие определенной целеустремленности. Другие видят в русской истории «русскую идею», наличие у нас сознания гипертрофированной собственной миссии. Между тем движение к будущему невозможно без точного понимания прошлого и характерного.

Россия необъятна. И не только своим поразительным разнообразием человеческой природы, разнообразием культуры, но и разнообразием уровней — уровней во всех душах ее обитателей: от высочайшей духовности до того, что в народе называют «паром вместо души».

Но буду краток. Я ведь не пророк и не проповедник, хотя убеждать и призывать в последние свои годы приходится часто. Скажу только словами Владимира Мономаха, обращенными им к его читателям: «Аще не всего приимете, то половину».

Гигантская земля. И именно земля, почва. Она же страна, государство, народ. И недаром, когда шли на поклонение к ее святыням, замолить грех или поблаго-

дарить Бога, — шли пешими, в лаптях и босыми, чтобы ощутить ее почву и пространство, пыль дорог и траву придорожных тропинок, увидеть и пережить все по пути. Нет святости без подвига. Нет счастья без трудностей его достижения. Идти тысячи верст: до Киева, до Соловков, плыть до Афона — и это тоже частица России.

Я назвал Киев в числе мест, куда брели русские паломники. И это я сделал не случайно. Самая большая русская святыня была Киево-Печерская лавра. И украинцы могут гордиться, что их город был с самого начала центром всей русской земли: будущей Украины, Великороссии и Белоруссии. Думать иначе — узость, это значит снижать значение Киева как мирового города.

Я вспоминаю, с каким душевным трепетом я бродил в свои школьные годы по Белозерску — городу, еще в X веке знаменитому тем, что там сел на княжение один из трех братьев-варягов — Синеус (я не знал еще тогда, что и само призвание варягов — легенда, да и Белозерск перенесен на свое нынешнее место в XIV в.). Но с таким же трепетом я бывал и в Изборске (городе другого брата — Трувора), и в Новгороде, где сел Рюрик, и во Владимире, основанном Владимиром Мономахом, и в Ростове, и в Новгороде-Северском, и в Путивле. Каждый город хранит свою особую красоту и вместе с тем в чем-то общую для всех. Каждое село, в котором я бывал — от Колы близ Мурманска и северных становищ до деревень на Волге, в Псковской области, на Волхове и Пинеге, — имело свое лицо. Невероятное разнообразие и какое-то высокое единство. Все русское. Но и после разделения на три восточнославянских народа не отгороженное глухой стеной от Украины, от Белоруссии, от селений татарских, коми-зырянских, мордовских, карельских.

Общие судьбы связали наши культуры, наши представления о жизни, быте, красоте. В былинах главными городами русской земли остаются Киев, Чернигов, Муром, Карела... И о многом другом помнил и помнит народ в былинах и исторических песнях. В сердце своем хранит красоту, над местной — еще какую-то надместную, высокую, единую... И эти «идеи красоты» и духовной высоты — общие при всей многоверстой разобщен-

ности. Да, разобщенности, но всегда взывавшей к соединению. А возникло это ощущение единства давно. Ведь в самой легенде о призвании трех братьев-варягов сказалось представление, как я давно доказываю, о братстве племен, ведших свои княжеские роды от родоначальников-братьев. Да и кто призывал, по летописной легенде, варягов: русь, чудь (предки будущих эстонцев), словене, кривичи и весь (вепсы) — племена славянские и угро-финские, следовательно, согласно представлениям летописца XI в., эти племена жили единой жизнью, были между собой связаны. А как ходили походами на Царьград? Опять-таки союзами племен. По летописному рассказу, Олег взял с собою в поход множество варягов, и словен, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северцев, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев...

Русская земля, или, вернее, земля «Русьская», то есть вся — с будущей Украиной, Белоруссией и Великороссией — была сравнительно слабо населена. Население страдало от этой вынужденной разобщенности, селилось преимущественно по торговым путям — рекам, селилось деревнями, и все же не такими уж большими, боялось окружающей неизвестности. Враги приходили «из невести», степь была «страной незнаемой», западные соседи — «немцы», то есть народы «немые», говорящие на незнакомых языках. Поэтому среди лесов, болот и степей люди стремились утвердить свое существование, подать знак о себе высокими строениями церквей, как маяками, ставившимися на излучинах рек, на берегу озер, просто на холмах, чтоб их видно было издали. Нигде в мире нет такой любви к сверкающим золотом, издали видным куполам и маковкам церквей, к рассчитанному на широкие просторы «голосоведению», к хоровому пению, к ярким краскам, контрастным зеленому цвету и выделяющимся на фоне белых снегов чистым цветам народного искусства. «Цветам», то есть раскраскам цветов. Цветам, взятым из природы, согласующимся с ней, а вместе с тем и выделяющимся.

И до сих пор, когда я увижу золотую главку церкви или золотой шпиль Адмиралтейства, освещающий со-

бой весь Невский, золотой шпиль Петропавловской крепости — меч, защищающий город, — сердце мое сжимается от сладкого чувства восторга. Золотое пламя церкви или золотое пламя свечи — это символы духовности. «Свеча бы не угасла» — так писали в своих завещаниях московские князья, заботясь о целостности Русской земли.

Вот почему на Руси так любили странников, прохожих, купцов. И привечали гостей — то есть проезжих купцов. «И человека не минете, не привечавше», — пишет в своем «Поучении» Мономах. Гостеприимство, свойственное многим народам, стало важной чертой руськского характера — русского, украинского и белорусского. Гость разнесет добрую молву о хозяевах. От гостя можно услышать и об окружающем мире, далеких землях. Потому и вера христианская, как бы наложившаяся на старое доброе язычество, была с таким малым сопротивлением принята на Руси, что она ввела Русь в мировую историю и мировую географию. Люди в своей вере перестали чувствовать себя одиноким народом, получили представление о человечестве в целом.

Но объединяющим началам в русской земле противостоят широкие пространства, разделяющие собой села и города. «Гардарикией» — «страной городов» — называли скандинавы Русь. Однако между городами и селами тянулись безлюдные пространства, иногда трудно преодолеваемые. И из-за этого крепли в Руси не только объединяющие, но и разъединяющие начала. Что ни город, то свой норов, то свой обычай. Русская земля всегда была не только тысячей городов, но и тысячей культур. Возьмите то, что больше всего бросается в глаза и что больше всего заботило жителей России, — архитектуру. Архитектура Руси — это целый разнообразнейший мир. Мир веселых строительных выдумок, многочисленных стилей, создававшихся по-разному в разных городах и в разные времена. Одновременно воздвигаются храмы в Новгороде и во Владимире, в Смоленске и в Ярославле. И в Новгороде оказываются церкви, построенные в духе не только новгородских, но и смоленских, потом московских и волжских соборов. Ничего агрессивного, не допускающего существования зданий другого стиля или

другой идеологической наполненности. В Новгороде существовала варяжская божница, была Чудинцева улица — улица угро-финского племени чуди, даже в Киеве был Чудин двор — очевидно, подворье купцов из далекой северной Эстонии на Чудском озере. А в XIX в. на Невском проспекте, проспекте веротерпимости, как его называли иностранцы, была и голландская церковь, и лютеранская, и католическая, и армянская, и только две православные — Казанский собор и Знаменская церковь.

2

Ко второй части своей статьи я приступаю не без некоторого волнения. К мыслям, здесь выраженным, легко придраться, если изъять их из контекста всей статьи, если выдергивать их поодиночке, если просто не пожелать понять, что есть на самом деле в русской культуре.

Первая часть статьи отчасти подготовила к тому, что я скажу сейчас. Соседство через пространства типично не только для русских городов и сел, но и для русской культуры в целом. Мы — страна европейской культуры. К этому приучило нас христианство. С ним вместе мы восприняли византийскую культуру: в очень большой степени через Болгарию. Мы создавали свою письменность, собственные литературные жанры, выражали в литературе свои тревоги, но помощь в этом оказывали привезенные к нам болгарские книги, болгарские сочинения, жанры, утвердившиеся в Болгарии, но самое главное — тот литературный язык, который мы получили со всей болгарской культурой. Не вдаваясь сейчас в сложный вопрос о том, как называть тот церковный язык, на котором были написаны привезенные к нам книги и переписываемые произведения, скажем только, что язык этот, переделываясь, возвращаясь к старым формам и снова от них удаляясь, питал русскую литературу целого тысячелетия. Было два языковых центра, вокруг которых вращалась, обогащаясь, русская литература. Первый центр — это тот церковнославянский язык, традиционно связанный с Болгарией, который все русские вплоть до конца десятых годов XX столетия учили сызмальства, с приготовительных классов гимназии, с первых классов город-

ских школ, реальных, коммерческих и церковных училищ, на котором молились, учились понимать мировые сюжеты европейской живописи, поэзии философской мысли... Второй (а может быть, и первый, так как он предшествовал церковнославянскому)—это язык разговорный, традиционно русский, с его поговорками и речениями, к которому постоянно обращались летописи, юридические памятники, древнерусские повести, сатирические произведения и т. д. И близкий разговорному язык народной поэзии: былин, исторических песен, духовных стихов (забытых сейчас вместе со всей их народной мудростью), сказок и т. д., и т. п. Всех жанров народной поэзии не перечислишь, но ясно одно—что это тоже язык организованный, по-своему высокий. Какое счастье быть русским писателем, постоянно черпая в своем творчестве в нужном количестве и качестве то из одного родника, то из другого! В этом отгадка необыкновенного богатства и тонкости языка русской литературы, и особенно поэзии.

Из различных родников создавались и жанры русской литературы и поэзии: свои народные, церковнославянские, польские, западноевропейские. Обогащались взаимно жанры русской, белорусской и украинской литератур. Причем поразительно, что ни один из жанров не исчезал бесследно. Ни один из больших пластов литературы! Древнерусская литература продолжала существовать до XX века. Повествования типа повести о Бове, о разбойнике Барбосе издавались в XX в. В. Сытиным. Многие произведения старинной русской литературы переходили в литературу детскую, подобно тому как в детских игрушках продолжали существовать старинные формы паровозов, саней, военных мундиров.

Правда, жанры литературы упрощались, деформировались, приспосабливались к литературным необходимостям своей эпохи.

Процесс жанрообразования шел в течение всего развития русской литературы. Эти жанры создавались вновь, но и заимствовались: роман, баллада, поэма и пр. И всюду приобретали оригинальный, свой, русский характер.

Развивавшаяся в многочисленных центрах письменности и в «литературных гнездах» литература была не-

обычайно богата, соединяя в каждую эпоху разнообразнейший по происхождению материал, свой и чужой, используя свободу выбора, но и свободу обращения с жанрами. Это относится и к тем жанрам, которые пришли к нам из Византии и с Балкан, и к тем, что явились к нам с Запада, как, например, роман, который приобрел у нас свои формы и, забегая вперед, скажем — идейную, своеобразную русскую содержательность.

Еще ярче эта способность русской культуры обогащаться за счет чужих культур и трансформации своей, старой, сказалась в смене стилей. Русская земля создавала собственные художественные стили в древний период своего развития, до эпохи петровских реформ, а после Петра включилась в общее развитие художественной жизни Запада, постоянно трансформируя художественные стили, впервые возникавшие на Западе, а затем откликавшиеся в России. Но как откликавшиеся! Каждый стиль приобретал в России не только своеобразные, но и высшие формы. Барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм! Разве все эти течения и «великие стили» не приобрели в России свои формы и свою содержательность, свою направленность на решение общих проблем? Симеон Полоцкий — белорус, принесший с собой веяния и формы школьного барокко. В Москве он работал отнюдь не на школьные темы, заняв в своем творчестве глубокие и необходимые на русской почве общественные позиции. Радищев и Карамзин — разве это просто сентименталисты? Или они писали вне стилей? А реализм Достоевского? Разве это просто реализм, а не реализм высшего уровня, выходящий уже за пределы обычного литературного реализма? А ведь аналогичные наблюдения мы могли бы сделать в области зодчества. Даже многочисленные итальянские архитекторы, работавшие в Петербурге, не приблизили Петербург к типу итальянских городов. Приглядимся внимательнее — и мы увидим, что Петербург вообще не принадлежит к типично европейским городам. Европейские города у нас — Таллинн, Вильнюс, Рига, Львов, но не Петербург. Тем более, он и не восточный город. Петербург — русский, обладающий необычайной восприимчивостью к чужому и творческой переработкой этого чужого в главном.

3

Писать историю русской культуры или хотя бы литературы, архитектуры, философии, живописи, музыки необычайно трудно. Именно потому, что явления культуры самостоятельны, они не всегда четко вливаются в общий процесс. Они свободны и, как свободные, легко воспринимают и творчески перерабатывают чужое — стороннее или просто старое, возвращаются к этому старому или забегают намного вперед, опережая не только свое время в своей стране, но и чужое в других странах, как это было с «серебряным веком» в русской литературе или с авангардом в живописи. Об этой черте говорит, в частности, Блок в «Скифах»:

Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё —
и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Эту черту восприимчивости и понимания своего и чужого как своего отмечали многие в XIX и XX вв., нет смысла повторять и развивать это наблюдение. Скажу только (вернее, напомню о том, что давно говорилось), что эта последняя черта доводила русских не только до многого хорошего, но и до многого плохого.

А кстати, обратите внимание, какие различные писатели, поэты, художники, философы живут в прошлом одновременно. Их объединения по общим творческим принципам совершаются легко, хотя легко и разрушаются. Но разве нет аналогичных явлений в западных странах? Есть, конечно. Вообще не бывает ни одной черты в национальном своеобразии, в национальном лике любого народа, которой не было бы у другого, но ведь это не мешает существованию индивидуальностей. Нет ни одного лица, которое совпадало бы с другим. Лицо же России особенно индивидуально, ибо восприимчиво не только к чужому, но и к своему. Может показаться странным — «восприимчиво к своему», но я имею в виду черту особой правдивости, при которой человек не скрывает своего, искренен и во всем своем доходит до крайней точки.

4

«Стыдливость формы» — это черта, особенно ярко проявившаяся в русской литературе, связана со всем предшествующим, о чем я говорил перед этим. Как только какой-либо стиль, манера, жанр, язык начинают определяться в своих формах, как бы застывают, становятся заметными, замечаемыми, так они отвергаются, и автор стремится почерпнуть новое в низших формах, ищет простоты и правды. Обращается то к разговорному языку, то к деловым жанрам, пытается сделать литературным нелитературное. Это особенно заметно у Некрасова, Лескова, Толстого, Маяковского и многих других. Иногда это сочетается с резким поворотом к старому и даже древнему, как у А. Ремизова. На этом основывалась и постоянная «игра двух главных полюсов» русского языка в XVIII—XX вв. — церковнославянского и разговорного, просторечного.

«Стыдливость формы» — постоянный источник обогащения русского литературного языка и русской жанровой системы в литературе. Но не только в жанрах и языке проявилась она, а и по существу, в содержании, в идеологии. «Стыдливость формы» — это и страсть разоблачения всякой напыщенной лжи, стремление к неприкрашенной, «голой правде», ненависть к фразе. Всяческое «опрощение», стыд своей образованности и интеллигентности, хождение в народ и идеализация крестьянства и общины, идеализация Древней Руси, воспринимавшейся славянофилами как нечто простое, крестьянски-однородное. Даже кажущееся сейчас смешным стремление писателей одеваться «под крестьянина», «под странника», иногда под мелкого торговца — отражение той же идеологии. И уж в этом-то мы полностью «самобытны».

5

Но если говорить об идеологическом своеобразии, то здесь главенствующей чертой, несомненно, должно быть выделено правдоискательство, которое постоянно отделяло русскую мысль от русской государствен-

ной деятельности либо даже, ненадолго правда, подчиняло последнюю себе.

Правдоискательство было главным содержанием русской литературы начиная с X в. Да, с десятого, хотя обычно принято начинать русскую литературу, точнее, «русьскую», ибо она была началом и литературы украинской и белорусской, с XI в. В самом деле, историческая литература, в которой искали «откуда есть пошла», или «вещи сея начало», или место русского народа среди народов других стран, или место русской истории в истории мировой, — такая историческая литература была тоже формой правдоискательства. Древнейшее из дошедших до нас компилятивных произведений, относящееся ко временам крестителя Руси Владимира I Святославича, «Речь философа», — именно такого характера. «Речь» рассказывает о мировой истории в средневековом ее понимании, показывает место Руси в мировой истории и в заключение наставляет Владимира принять христианство. Историческая литература с необычайным размахом составлялась и переписывалась на Руси вплоть до XVII в. И характерно, что один из первых летописцев, создатель самой формы летописания, монах Киево-Печерского монастыря Никон вынужден был бежать от княжеского гнева в Тмутаракань. А затем и пошло... Авторы древнерусских сочинений постоянно становились в оппозицию к князьям — будь то автор «Слова о полку Игореве», или Даниил Заточник, или автор «Повести о разорении Рязани», и т. д. Поучения обращались к князьям чаще, чем к представителям какого-либо другого сословия. Татаро-монгольское нашествие и объединило людей разных социальных слоев, и еще больше разъединило их. Князья и монархи следили за литературой или сами брались за перо. Но это не уничтожило пропасти, которая существовала между государством и литературой.

По отношению к государству в России была не только оппозиция интеллектуальная, политическая, но и «оппозиция души». Вспомним, какие тонкие, нежные лики изображены на некоторых из икон времени Ивана Грозного. Вместе с тем в пору ослабления государства, в период феодальной раздробленности и междоусобных ратей литература сама стала своеобразным «вто-

рым государством». Она переняла у государства его объединяющие функции. Национальное самосознание, сознание своего единства держалось в основном на относительном единстве языка, фольклора, искусства, быта. Я говорю об «относительном единстве», так как наряду с общими явлениями существовали и различия, о которых я уже говорил. Были различия племенные, областные, различия между культурными гнездами и центрами. Больше всего объединяющей силы было в литературе, произведения которой кочевали по всей Руси, пересылались из одного книжного центра в другой, объединяли Русь общей книжной культурой, а благодаря своей открытости не знали и национальных границ с южными славянами.

6

Широта свойственна не только пространству, населенному русью, но и натуре русского человека, русской культуре. Многообразие «областных» культурных гнезд и книжных центров в значительной мере определяло исключительную свободу в обращении с культурными ценностями разных времен и разных народов. Вот почему своеобразный символ русской культуры — Пушкин, стремившийся приобщить свое творчество ко всем вершинам мировой поэзии: Данте, Гафиз, Гёте, Шекспир и т. д., и т. п.

Пушкинская энциклопедия, когда она будет составлена, сможет быть источником обширной образованности для любого читателя.

И, по существу, в русской культуре всякое явление культуры предстает в своих наилучших формах, стремится подняться на ступеньку выше, быть наполненным значительным содержанием, обрести свободу от канонов. Таковы философская опера Мусоргского, философский роман Достоевского, философская проза Гоголя, философская лирика Тютчева, даже философский «авангардизм» (Малевич, Филонов, Гончаров и многие другие).

Русская культура не перенимала, а творчески распоряжалась мировыми культурными богатствами. Огромная страна всегда владела огромным культурным наследством и распоряжалась им с щедростью

свободной и богатой личности. Да, именно личности, ибо русская культура, а вместе с ней и вся Россия являются личностью, индивидуальностью.

Личность, индивидуальность не терпят одиночества и замкнутости в себе. От этого Россия всегда стремилась любовно усвоить наследие прошлого: наследие Греции, Балканских стран, и среди них в первую очередь Болгарии, культуру Италии во всем ее многообразии, сперва, в XV в., — зодчество, затем, в XVIII и начале XIX в., — не только зодчество, но и музыку, живопись, литературу. Такое же стремление усвоить культуру Голландии намечается уже в XVII в. и проявляется с наибольшей силой при Петре. А в XVIII и XIX вв. пафос усвоения чужих культур обращается, помимо Италии, на Францию, Германию, Англию, Испанию... Что может создать это русское усвоение, могло бы быть продемонстрировано хотя бы на такой специальной области, как балет.

7

И все-таки есть одна черта в русской культуре, которая явственно сказывается во всех ее областях: это значение эстетического начала. «Аргумент красоты» сыграл первенствующую роль при выборе веры Владимиром I Святославичем. Рассказ летописи о том впечатлении, которое произвела на послов Владимира церковная служба в константинопольском храме Софии, общеизвестен. Именно это побуждало русских князей строить великолепные храмы во всех основных городах Руси: Киеве, Новгороде, Полоцке, Владимире, Суздале, Ростове, Пскове и т. д. Эстетические формы культуры не смогло полностью уничтожить даже чужеземное иго. И ни о каком отставании в целом в области зодчества, в живописи, прикладных искусствах, фольклоре, музыке не может быть и речи. В литературе выдвинулось на первый план не личностное, а «хоровое» начало, но вопрос об этом хоровом начале должен решаться на фоне существования такого же хорового начала в русской музыке и в русском фольклоре, высота которого в эпосе и лирике бесспорна.

О влиянии христианства на русскую историю, на русский национальный характер, в частности на эстети-

ческие представления русского народа, писалось много. Нет нужды повторяться. Но об одной особенности религиозного сознания русских не писалось вовсе. Если сравнить Сергия Радонежского с Франциском Ассизским (а такое сравнение делалось постоянно), то выступает огромная разница в большом и принципиальном. Франциск считал бедность одним из главных достоинств монашества. То же считал и Сергий. Но Франциск проповедовал нищету, бродяжничество монахов, а Сергий запрещал уходить из монастыря и просить милостыню. Монахи должны были трудиться и трудом своим зарабатывать хлеб. Сергий выполняет всю крестьянскую работу сам. Пафнутий Боровский перед смертью отдает распоряжение по хозяйству. Игумен Филипп Соловецкий технически благоустраивает монастырь, и именно это считается его главным подвигом на Соловках. Иульяния Осоргина спасается даже у себя дома в хозяйственных заботах, приравниваемых к подвигам благочестия. Таких примеров особого отношения к труду у русских святых можно привести множество. Христианский идеал приобретал в России существенную добродетель — трудолюбие, заботу о богатстве всего коллектива, будь то монастырь, княжество, государство в целом или простая помещичья семья с ее слугами.

8

Есть еще одна черта русской культуры, которая неразрывно связана с ее особенностью как личности, индивидуальности. В произведениях русской культуры очень велика доля лирического начала, собственного авторского отношения к предмету или объекту творчества. Можно спросить: как это может сочетаться с хоровым началом, о котором только что говорилось? И вот сочетается... Возьмите древнерусский период, первые семь веков русской культуры. Какое огромное количество посланий от одного к другому, писем, проповедей, а в исторических произведениях как часты обращения к читателям, сколько полемики! Правда, редкий автор стремится выразить именно себя, но получается, что выражает... А в XVIII в. как часто русская классическая литература обращается к письмам, днев-

никам, запискам, к рассказу от первого лица. Поэзия у всех народов живет самовыражением личности, но возьмите прозу: «Путешествие...» Радищева, «Капитанскую дочку» Пушкина, «Героя нашего времени» Лермонтова, «Севастопольские рассказы» Толстого, «Мои университеты» Горького, «Жизнь Арсеньева» Бунина. Даже Достоевский (за исключением, может быть, «Преступления и наказания») все время ведет повествование от лица хроникера, стороннего наблюдателя, имеет в виду кого-то, от чьего лица течет повествование, кто ведет наблюдение и как бы даже не разбирается, что происходит, предоставляя читателю радость догадки. Эта домашность, интимность и исповедальность русской литературы — ее выдающаяся черта.

Автор всегда осознает читателя умным и сообразительным и этим поднимает его над собой, освобождает от мелочной опеки.

И снова «противоречие» в моей характеристике русского искусства. Литература на всем ее протяжении сохраняет учительный характер. Литература — трибуна, с которой — не гремит, нет, — но все же обращается с моральными вопросами к читателю автор. Моральными и общемировоззренческими.

Может быть, впечатление того и одновременно совсем другого возникает потому, что автор действительно не ощущает себя выше читателя. Аввакум не столько наставляет в своем «Житии», сколько подбадривает самого себя. Не учит, а объясняет, не проповедует, а плачет. Его «Житие» — это плач по себе, оплакивание своей жизни накануне ее неминуемого конца. Ведь он пишет «Житие», когда вот-вот должен прийти конец.

9

Страстность и темпераментность составляют отличительный характер русского искусства: не только литературы, но и живописи во всех ее видах и во все времена, музыки и, смею утверждать, зодчества. Если бы был найден какой-то способ определять в зодчестве дозу лирического начала, то уверен, это лирическое начало было бы особенно велико в народном деревянном зодчестве и в гениальной древнерусской архитектуре,

несмотря на все разнообразие ее форм и стилей по отдельным эпохам и по отдельным областям. Этому очень помогала свобода от чертежей. Примерные чертежи, предварительные наброски существовали, конечно, но в основном зодчие работали в натуре, работали «с образца», то есть по примерному желанию заказчика воспроизвести ту или иную существующую церковь, здание, полагаясь на то, что зодчему «мера и глаз укажут». Особенно много для самовыражения давали строителям луковичные завершения, шатры, свобода от строгой симметрии, выбор места среди естественного пейзажа — среди елей, над озером (с разнообразием отражений на водной поверхности). Как завершение дороги или как «возвышение», подъем к небу среди обыденной крестьянской застройки. Всего не предусмотришь в чертеже, но все мог учесть строитель в процессе работы (особенно, скажу, если, работая топором, он пел; я наблюдал в детстве и такое).

10

Первоначальная летопись сообщает, что греческий философ, рассказывая Владимиру I Святославичу о христианстве, развернул перед ним «запону» с изображением Вселенной, а в ней людей, двигающихся группами — одни в ад, другие в рай. Была ли эта «наглядная агитация» требованием? Да, русская литература началась с самого своего «учительного», проповеднического произведения, но в дальнейшем русская литература разворачивала перед своими читателями более сложные композиции, в которых предлагался читателю тот или иной авторский вариант поведения как материал для размышлений. В этот материал входили и различные нравственные проблемы. Проблемы нравственности ставились как художественные задачи, особенно у Достоевского и Лескова. В русской литературе всегда было мало простой занимательности, как и «среднего уровня». Горные хребты русской культуры (не только в литературе) состоят из вершин, а не плоскогорий, на которых обычно гнездятся простая занимательность или разгадки для чтения — кроссворды риторики. Риторика вообще нетерпима в русской лите-

ратуре. А чистое проповедничество всегда требует именно риторики.

Риторика нетерпима и в живописи. Между тем самая характерная живопись для России — портрет. Я не смогу этого доказать в этой статье. Пусть это останется для читателя моим мнением. Но русский портрет не перестает меня восхищать всякий раз, когда я обращаюсь к русской живописи, даже древнерусской. Ибо в древнерусской живописи ее портретная выразительность — в нравственной поучительности образа. Стоя перед фреской или иконой, испытываешь как бы давление противостоящей тебе личности — почти как перед живым собеседником. Вы скажете: Рембрандт, Веласкес... Да, поэтому-то эти художники так сильно влияли на русских живописцев. Они были им сродни. И так важно их иметь в Эрмитаже. Но в Эрмитаже так любопытны и «малые голландцы». Они и были нужны русским передвижникам, да и не только им.

Рассматривая карту культуры Европы, сколько в ней мы узнаем «своего», нужного для нас! Поэтому-то так важна нам наша природная открытость, воспитанная в нас отсутствием естественных границ. Всякая попытка закрыть границы для прохода в обе стороны губительна для нашей культуры. Мы не только получаем из-за рубежа, но мы и даем за рубеж. Как ни странно, эта самоотдача «неразменного рубля культуры» дает нам не меньше, чем процесс получения из-за рубежа. У каждого народа есть, как у летучей мыши, свой эхолот, свой радар. Издания, переводы, отклики на наши произведения за рубежом помогают нам наряду с откликами нашими собственными самоопределиться в мировой культуре, найти в ней свое место. Поэтому-то так важны для нас зарубежные издания и исследования Достоевского, Булгакова, Пастернака, Шолохова и т. д. Поэтому-то так важны для нас внимание к нашей музыке и музыкантам, к нашим иконам и фрескам (ах, нет у нас еще настоящего музея копий фресок!), впечатления туристов от наших городов, от их образа, их индивидуального облика.

11

Национальный характер антиномичен. Каждому положительному свойству противостоит своя противолежащая отрицательная черта: открытости — замкнутость, щедрости — жадность, любви к свободе — рабская покорность и т. д. Мы судим, однако, о любом национальном типе прежде всего по его положительным чертам. Ведь и в исследованиях искусств процесс их истории восстанавливается по лучшим произведениям, по первому ряду творцов, не по худшим и не по «второму ряду». Тем не менее русскому народу приписывается как одна из присущих ему черт беспрекословная покорность государству. Доля правды в этом есть, ибо в России не было устоявшихся традиционных форм для выражения народного мнения. Вече, земские соборы, сельские сходы?.. Этого было явно недостаточно. Поэтому независимость, любовь к свободе выражалась по преимуществу в сопротивлениях, принимавших массовый и упорный характер. Переходы из одного княжества в другое крестьян и отъезды князей и бояр. Уход за пределы досягаемости властей в казачество навстречу любым опасностям. Бунты — Медный, Разинский, Пугачевский и многие другие! Боролись не только за свои права, но и за чужие. Одно из самых удивительных явлений в мировой истории — восстание декабристов. И оно типично русское. Весьма состоятельные люди, люди высокого общественного положения пожертвовали всеми своими сословными и имущественными привилегиями ради общественного блага. Выступили не за свои права, как это обычно бывало во всех выступлениях, а за права тех, чей труд сами перед тем присваивали. В подвиге декабристов есть много народного. Русь еще в своем восточнославянском единстве, до татаро-монгольского ига, когда она не выделила из себя три основных восточнославянских народа — украинцев, великорусов и белорусов, — знала уже мужество непротивления. Святые Борис и Глеб без сопротивления принимают смерть от своего брата Святополка Окаянного во имя государственных интересов. Тверской князь Михаил и его боярин Федор добровольно едут в Орду и там принимают смерть за отказ выполнить языческий обряд. Крестьяне уходят

от крепостного права на край света в поисках счастливого Беловодского царства. Староверы предпочитают сжигать себя, чем поддаться искушению изменить вере. И это непротивление злу? Пожалуй, такое сопротивление нечасто знает история! Царственное пренебрежение материальными благами, в уродливых своих формах переходящее в мотовство.

12

Было бы нелепо предполагать, что черты русского характера были врождены русским. На самом деле они воспитывались историей, историческими ситуациями, в которые чаще всего попадала Россия, и до нее общая родина всех восточнославянских народов — Русь, Русская земля.

И характер народа не един. Мы замечаем, как свои отличия в русском характере формировались и формируются у поморов, другие в Сибири, третьи по Волге — в средней и нижней ее части. Россию нельзя оторвать и от населяющих ее народов, составляющих вместе с русскими ее национальное тело. Россия по богатству своих культурных типов, по сложности вплетения в них различных черт, по энергии своих разных проявлений, наконец, по интенсивности своих отношений с другими национальностями — едва ли не единственная в своем роде страна.

Мы писали выше, что русская культура представляла собой в средние века (да и позднее) подвижное соединение различных центров культуры. В этих центрах были образования разновременные и разнохарактерные... Центры были разъединены между собой территориально и социально. Это вело к тому, что в русской культуре могли сосуществовать очень древние слои и очень новые, легко образующиеся.

Для русского исторического развития характерны одновременно консерватизм и быстрые смены общественных настроений, взглядов. Кажется, что даже самые смены поколений совершаются в России через меньшее число лет, чем на Западе. Это происходит не просто из-за некоторой неупорядоченности русской жизни, но и потому еще, что в русской жизни непременно что-то остается от старого и даже от неправдо-

подобно старого, а с другой стороны, есть страстность, развивающая это старое и взыскующая нового. Кто бы мог подумать, что у нас продолжается традиционное древнерусское иконописание, составление житий святых (и неплохих) и переписка рукописей древнерусскими приемами? Структура русской культуры не была монолитной, при которой она развивалась бы как единое целое — относительно равномерно и неуклонно.

Культурный уклад России менялся, с одной стороны, кардинально, с другой — оставлял целостные системы старого. Так было и в эпоху Петра. С одной стороны, решительные перемены, а с другой стороны, неизменившийся уклад жизни крестьянства и решительно, с «идеологической основой» сохранявшийся старый уклад жизни старообрядчества.

Русская история — как река в ледоход. Движущиеся острова-льдины сталкиваются, продвигаются, а некоторые надолго застревают, натолкнувшись на препятствия.

Эту особенность русской культуры можно оценивать двойственно: и как благоприятную для ее развития, и как отрицательную. Она вела к драматическим ситуациям. Но важно еще и то, что благодаря ей русская культура включается в удивительно широкие рамки. Особенности русской культуры чрезвычайно трудно оценить в немногих и однозначных категориях. Как и русскую природу, впрочем. Оценить широту этих рамок в одной статье невозможно. Можно только удивиться богатству и разнообразию того, что́ русская культура в себя включает.

13

В настоящее время мы владеем огромным и при этом живым, развивающимся наследием — наследием полей культуры. Часть этих культурных явлений продолжает живую жизнь в современности (как, например, уже упоминавшееся старообрядчество), а другая живет в сбережении музеев, книг, памятников архитектуры и памятников градостроительства (что не следует отождествлять с архитектурой отдельных домов). Это наследие (особенно если оно действительно оберегается как наследие) может оказывать влияние на свободу

6—942

творческого выбора. Свобода выбора увеличивалась и благодаря открытости русской культуры. Культура всей Европы, всех европейских стран и всех эпох оказывается в зоне нашего наследия. Рядом с Русским музеем существует Эрмитаж, оказавший колоссальное влияние на развитие русской живописи. Перейдя Неву, воспитанники Академии художеств учились у Рембрандта и Веласкеса, у «малых голландцев», которые так повлияли на будущих передвижников...

Русская культура благодаря совмещению в ней различных наследий полна внутренней свободы. К несчастью, свобода, которой она владеет, состоит не только в свободе выбора учителей и учебного материала, не только в свободе творить, но и в свободе отрекаться от чужого и своего, крушить, уничтожать, продавать, сносить, отправлять в безвестность здания, города, села, картины, памятники, фольклор, а затем и самих авторов, художников — интеллигенцию в целом.

Итак, нет сомнений, что одно из богатств русской культуры и ее широких творческих возможностей — в свободном и широком выборе учителей, путей, наследия, которое отнюдь не узко одно. И не случайно столько внимания уделяется проблеме внутренней свободы в русской философии: в философии Бердяева, Франка, Карсавина, а до них — у Достоевского. Сознание предлагаемого выбора было остро у Тютчева и у многих других. Необходимость свободы почти болезненно ощущалась в философской лирике Блока и Владимира Соловьева. Обращаясь к России, Вл. Соловьев говорил:

Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Чтобы самим владеть путями нашей культуры, надо прежде всего изучить особенности истории и культуры России. Осмыслить русскую историю, выявить существенные черты России чрезвычайно важно для современности, ибо многое из того, что произошло и происходит в наши дни, в известной мере определяется и будет определяться тем, что представляет собой Россия. И интернационализм, и характер продвижения к будущему, и отношение к прошлому — все это должно корректироваться тем, что представляет собой

Россия. Перед нами стоит задача восстановить полноту русской культуры.

Прошлая Россия в наше время не может быть сброшена со счетов даже тех, кто искренне стремится к ее будущему утверждению в веках.

О чем же свидетельствует эта широта и поляризованность русского человека? О чем свидетельствуют «уроки России»? Прежде всего — о громадном разнообразии возможностей, скрытых в русском характере, об открытости выбора, о неожиданности появления нового, о возможности бунта против бунта, организованности против неорганизованности, о внезапных проявлениях хорошего против самого дурного, о внутренней свободе русского человека, в котором сквозь завесу дурного может неожиданно вспыхнуть самое лучшее, чистое и совестливое. Исторический путь России свидетельствует о громадных запасах не только материальных благ, но и духовных ценностей.

Россия не абстрактное понятие. Развивая ее культуру, надо знать, что представляла ее культура в прошлом и чем она является сейчас. Как это ни сложно, Россию необходимо изучать.

1988

КУЛЬТУРА, НРАВСТВЕННОСТЬ, ОБЩЕСТВО

Вопросы нравственности чрезвычайно усложнились в нашем мире. Обратите внимание на рост значения законов нравственности в современной науке, в промышленности, в политике...

В самом деле, научные открытия могут быть приняты лишь при условии полной честности сделавшего их ученого. Множество экспериментов не могут быть повторены, не поддаются проверке, или сам эксперимент стоит настолько дорого, что повторение его может быть сделано лишь в исключительных случаях. Честности требует даже работа с компьютером, куда могут быть заложены неверные сведения.

В какой мере допустимы с точки зрения морали некоторые эксперименты в генетике — с человеческими зародышами, например?

Каковы условия порядочности ученого в отношении своих предшественников и товарищей? Права моральной собственности на идеи и наблюдения?

Все эти вопросы чрезвычайно важные и чрезвычайно сложные. Нравственность в современном мире теснейшим образом связана с культурой человека и общества.

Недостаток культуры в нашем обществе волнует меня больше всего. Никакие законы истории или издаваемые государством, никакие надежды на будущее не оправдаются, если не будет поднят общий культурный уровень нашей жизни, «культурный тонус» нашего общества.

Сейчас это особенно важно осознать, так как уровень культуры не просто низок — он падает. Десятилетия истребления интеллигенции, десятилетия падения школьного образования и «остаточный» принцип в отношении финансирования культуры, бесконечные ката-

строфы с наиболее важными хранительницами культуры — библиотеками (научными и народными), неправильная издательская политика, при которой публиковалось не то, что требовалось читателем, а то, что ему навязывалось по разным соображениям, сыграли свою отрицательную роль. И все это на фоне общего застоя в области культуры, который начался гораздо раньше — до самого так называемого застойного периода; боязнь не только самостоятельной мысли, но вообще всякой самостоятельности людей привела к тому, что даже само поведение людей сильно изменилось к худшему — к вызывающе неряшливому. Не удивляйтесь сказанному: постараюсь объяснить, какое отношение не только к науке, экономике, политическому мышлению, но и к общему поведению людей, даже к их облику имеет культура.

Не буду вдаваться в чрезвычайно сложные вопросы — что такое культура и интеллигентность. Остановлюсь на чем-то, представляющемся мне элементарно ясным.

Культура основывается на знаниях, хотя сама не является просто большим объемом знаний. Можно много знать и не быть культурным человеком. Культура — это прежде всего результат знаний, — знаний упорядоченных и вместе с тем осознающих свою недостаточность.

В самом деле, чем больше человек знает, тем яснее он понимает недостаточность своих знаний. Сама наука развивается не столько путем ответов на вопросы, сколько путем постановки все новых и новых тем, в основном возникающих в результате ответов, которые открывают неизвестное. Часто повторяемый афоризм «я знаю, что я ничего не знаю» не является кокетливым самоуничижением. Это закон упорядоченного знания.

В науке XVIII в. жила уверенность, что мир скоро будет объяснен до конца и все в нем станет понятным. Человечество стояло как будто бы на грани полного познания мира — во всех областях. Сейчас, в XX в., теоретики физики знают, что мы очень далеки от подлинного объяснения мира. Это знание того, что мы очень мало осведомлены о вселенной, о строении материи, об экономике, об искусстве (в теоретическом отно-

шении) и т. д., свойственно сейчас всем наукам (кроме самых отсталых), всем ученым...

Отсюда особая осторожность подлинно знающих людей, осознающих зыбкость человеческих знаний, и рядом с ними чрезвычайная самоуверенность полузнаек. Самоуверенность и агрессивность, крайняя ненависть к осторожным культурным людям, которые представляются им просто нерешительными или даже умышленно сопротивляющимися.

Полузнайке кажется, что он знает все, и прежде всего рецепты благополучия человечества, быстрый выход из временных затруднений. Полузнайке кажется, что ученый или просто культурный человек — плохой проводник его самоуверенной политики, но еще и укор его невежеству, — укор крайне оскорбительный для полузнаек, уверенных в своем «всезнайстве».

Агрессивный полузнайка ищет панацей от всех общественных бед — то в сплошной и насильственной коллективизации, то в более элементарных вещах вроде «ветвистой пшеницы», свиноводстве, кролиководстве, массовых посевах кукурузы, плотинах, различного рода гигантских предприятиях, в уверенности, что в природе все можно менять (это еще Салтыков-Щедрин заметил). Отсюда естественный рост командно-административных методов управления. Отсюда же грубость с подчиненными, нежелание малокультурных людей (полузнаек) менять раз принятое решение («лобная психика»). Отсюда же существовавшее в свое время пристрастие полузнаек к «командной», военной или полувоенной одежде, к военной и милицейской терминологии в языке. Некультурность видна во всем облике полузнайки, в его поведении. Принципиальная агрессивность во всем — в мировоззрении, в отношении к гласности, в отношении к природе, к истории, к различным течениям в искусстве (особенно к тем, которые не сразу понятны и требуют от человека несвойственной полузнайкам восприимчивости). Агрессивность идет рука об руку с уверенностью, что все инакомыслящие — враги, а если не враги, то принадлежат к народностям, искони не обладающим какими-либо свойствами или обладающим только дурными. Отсюда же уверенность, что все недостатки от злых свойств каких-то

народностей или от таинственных многовековых заговоров, тайных обществ...

Одним словом, полузнайка ведет себя так, как будто бы он находится в полузнакомом ему лесу в сумерках: стволы деревьев он принимает за разбойников, жаждущих на него напасть, он не видит дороги и с радостью бросается на все, что покажется ему дорогой или тропинкой. А самое главное — цель для него оправдывает средства, ибо он верит только в им самим сконструированное будущее и для него не существует ни прошлого, ни уроков истории. Он движется на ощупь и вот-вот станет на четвереньки, чтобы душить и уничтожать любое препятствие: «ликвидировать», «пускать в расход». Он верит в «высшую меру», точнее, в убийство, как в наиболее действенный способ борьбы с преступностью.

Итак, полузнайство, полуинтеллигентность воспитывает определенные, очень опасные черты характера, поведения, отношения к окружающему миру — людям и природе, к истории, памятникам культуры и искусству. В наиболее кризисных ситуациях полуинтеллигентность создает таких людей, как Гитлер, Муссолини, Сталин и «иже с ними». Создает сообщество таких же полузнаек с психологией стадности, «вождизмом» (наиболее агрессивный из полузнаек легко становится вождем, или, точнее, вожаком стаи). Итак, полузнайство — опаснейшая социальная болезнь.

Но если полузнайство — болезнь, болезнь, приводящая к самоотравлению, то, может быть, эту болезнь можно все же лечить? Это чрезвычайно трудно. Во-первых, никто из полуинтеллигентов, или полузнаек, не осознает себя таковым. Они окружают себя людьми такого же невысокого интеллектуального уровня, среди которых чувствуют себя вполне сносно. Во-вторых, они обычно ведут борьбу за практическое использование знаний. Они покровительствуют техническим наукам и техническим профессиям, их «немедленной полезности», ибо в технике есть что-то понятное по результатам.

Но самое главное: тип полуинтеллигента со всеми «выходами» этого состояния в мироощущение и общественное поведение складывается в основном еще

в юности. Огромное значение имеют семья и средняя школа...

Главное, формирующее человека, его нравственный мир и в какой-то мере отношение к окружающему, — дается гуманитарными науками, гуманитарной культурой в целом, искусством.

Но если человеку не удалось овладеть ими, дело не так безнадежно. Спасает высокий профессионализм в своей области, который может быть достигнут в зрелом возрасте и даже в старости. Осознанный профессионализм в какой-то одной области (технической, медицинской, педагогической и т. п.) заставляет человека не вмешиваться в то, чего он не знает в достаточной мере. Профессионализм учит, приучает. На примере своей хорошо освоенной профессии специалист понимает важность знаний в целом. Мне приходилось встречать вполне интеллигентных столяров, наборщиков, крестьян. В них была приобретенная их специальностью, хорошим знанием и владением своего дела мудрость. Мудрые старики — это в основном хорошие работники в прошлом. Мне иногда представляется, что можно составить список профессий, которые очень часто воспитывают с годами у занимающихся этими профессиями мудрое отношение к людям, природе и прошлому.

Итак, мы поговорили о бедах полуинтеллигентности, о бедах, которые эти полуинтеллигенты приносят в мир, человеческому обществу, окружающей природе.

Поговорим теперь об интеллигентности. Какими чертами отличается она, как сказывается на поведении людей и на человеческом обществе?

Образованность не есть еще интеллигентность. Она только один из путей к интеллигентности. Образованность в значительной мере формирует нравственный мир человека и сказывается на его поведении, даже манере держаться. Интеллигентного человека характеризует прежде всего уважительное отношение к окружающему и к окружающим, сознание того, что он не обладает полнотой знаний, а находится только на пути к знаниям. Поэтому он постоянно пополняет свои знания, особенно в области гуманитарной культуры. Отсюда осторожное отношение к другим людям и их убеждениям, отрицание насилия как пути к счастью, неверие в принцип «цель оправдывает средства». Отсюда

отсутствие самоуверенности в поведении и в манере себя держать. Отсюда уважение к опыту истории, к культуре вообще. И вместе с тем интеллигентный человек лишен комплекса неуверенности в себе. Отсюда отсутствие боязни чужого мнения, чужих предложений и готовность согласиться с мнением специалистов, людей сведущих. В существе своем внешне неуверенный интеллигент гораздо увереннее в себе любого агрессивного полуинтеллигента. Полуинтеллигент чаще всего категоричен, не способен изменить своего прежнего мнения, болезненно относится к своему престижу, груб с подчиненными — это все признаки слабости, впрочем, редко осознающиеся самими полуинтеллигентами.

Почему я все время говорю о роли гуманитарных наук и искусств в воспитании общей интеллигентности юношества? Здесь дело простое. Литература, живопись — вообще все искусства — учат жизненному опыту. Они не только позволяют человеку прожить несколько жизней, пережить различные жизненные ситуации, возвышают чувства, которые могли бы остаться обыденными, ничем и не примечательными, но и заметить в обычном необычное. Заметить красоту простого явления, в иных случаях представляющегося скучным и серым. Они знакомят с «чужим» сознанием другого человека, другого народа, другой страны, с красотой природы. Гуманитарные искусства воспитывают эстетически и этически. А кроме того, искусства развивают интуицию, которая очень важна во всех науках. Недаром великие ученые увлекались и увлекаются музыкой, сложными формами живописи, поэзией. Изучение языков, главным образом древних, также развивает умственные способности, особенно если это изучение правильно поставлено: с усвоением грамматики, умением правильно пользоваться словарями, читать со словарями трудные тексты.

Как сделать так, чтобы преподавание литературы давало бы наибольшую пользу в нравственном и эстетическом отношении? Конечно, оно не должно быть сообщением только знаний по литературе. Преподавание должно учить любви к литературе и чтению так же точно, как преподавание истории — любви к своему прошлому и настоящему. А оба предмета должны быть связаны с краеведением, с изучением своего края, его

литературных и исторических достопримечательностей, памятников искусства. Поэтому учитель не должен быть скован программами и методичками. Его работа должна быть творчеством. Учитель должен с интересом преподавать то, что в первую очередь интересно ему самому, что он любит, конечно ориентируясь на тот список необходимых знаний, которые понадобятся при поступлении в вуз ученику, окончившему среднюю школу.

Искусства должны приучать видеть в мире добро и красоту.

Я за разные типы средних школ. Только тогда учащиеся будут гордиться своей школой, своими учителями. Надо возродить в учащихся гордость своими знаниями, своим умением в той или иной области. Нельзя отделять труд от учения. Учение, приготовление уроков, пребывание в классе — это и есть труд, труд упорядоченный, приучающий к аккуратности, к чувству долга и ответственности.

Но я слишком много, кажется, говорю о средней школе... Это не случайно, ибо средняя школа, как и семья, в первую очередь воспитывает интеллигентность. А нельзя ли это восхождение к интеллигентности совершить как-либо побыстрее? Не будем обманываться — нельзя. Нельзя, но крайне необходимо. Интеллигентность должна быть свойством всего народа, всей страны. Ителлигентность в какой-то мере «заразительна», если она авторитетна. В нашей стране слишком долго (с 60-х годов XIX в.) интеллигентность считалась чем-то чуть ли не позорным. Антиинтеллигентские настроения проникли даже в литературу (вспомните Васисуалия Лоханкина у Ильфа и Петрова — образ интеллигента подчеркнуто отрицательный).

И так ли уж част персонаж — интеллигентный рабочий в советской литературе? А между тем не сразу, но в конечном счете интеллигентными должны стать и рабочие, и крестьяне, и все служащие от самых мелких до самых крупных, и все руководители предприятий, областей, министерств (что не всегда сейчас бывает). Для этого нужно, чтобы каждый осознал свою полную причастность к культуре, ощутил в себе достоинство человека, не лгал бы в «служебных целях» — для утверждения своего проекта, сметы, плана и т. д. Прав-

дивость перед самим собой — это общественная позиция, на основе которой только может укрепиться правдивость общественная, подлинная гласность, которую следует рассматривать не только как право получать информацию, но и как обязанность руководителей своевременно информировать обо всем, что может представлять интерес для других.

Итак, интеллигентность и культурность не следует путать с образованностью и профессиями умственного труда. Интеллигентность — следствие образованности, следствие всесторонних знаний, при наличии которых в достаточно молодом возрасте вырабатываются определенные жизненные навыки, определенное же бережное отношение к людям и природе, свой тип поведения, глубокая социальность.

Воспитать в человеке интеллигентность и соответствующее мироотношение (при любых разностях в мировоззрениях) может только семья, начальная и средняя школа. В дальнейшем интеллигентность может поддержать и даже создать сама окружающая среда.

Создание культуры в обществе — дело серьезное и длительное. Нужна забота государства о культуре, об образовании, о библиотеках, о театре и кинематографе. У молодежи должно существовать не стремление к «интеллигентным профессиям», а тяга к общей интеллигентности, гордость своими знаниями. Нравственный климат в обществе определяется степенью его культуры. Без определенного уровня нравственности и культуры в обществе не действуют никакие установления, законы экономики, нет необходимой степени доверия людей друг в другу. Даже чувство достоинства нации и благополучие в межнациональных отношениях определяются культурой населения.

Будем же всерьез думать о том, как поднять культурный тонус нашей жизни.

1989

НАУКА БЕЗ МОРАЛИ ПОГИБНЕТ

— Думаю, нам не следует обожествлять Академию наук. В стране, кроме нее, может существовать множество научных сообществ. Вообще — настоящая наука развивается не очень большими коллективами. Если в исследовательской организации работают несколько сотен, а то и тысяч человек, науки там не будет. Она развивается в лабораториях, где максимум 25 человек. Вот я, например, убежден, что у нас в Пушкинском Доме древнерусская литература успешно исследуется оттого, что занимается этим отдел, где всего 12 человек. Было бы 40, половина была бы из лентяев, а другая ориентировалась на них.

— *Это относится к гуманитарным наукам?*

— И к естественным, к техническим тоже. Может быть, соотношения там будут иные. Но — важен принцип!— и там удаление крупного ученого вверх по административной линии от непосредственного предмета исследований и от непосредственных их участников, создание многоступенчатой управленческой лестницы ни к чему хорошему не ведут. Нельзя таким путем создать коллективы единомышленников.

Наука сильна школами, борьбой разных, противоположных позиций. Но что-то я не видел, чтобы командно-административная система, «троянским конем» внедряющаяся и в науку, этому способствовала.

— *Вы говорите о монополизме, словно он охватил уже всю науку.*

— Монополизм, к сожалению, разросся в ней повсеместно. И страшно даже не то, что он объявляет одну из точек зрения истиной в последней инстанции, добываемой однозначно, единственным путем. А то, что он утверждает бесконтрольность, безответственность,

подменяет гражданский долг заглядыванием в рот институтскому или академическому начальству.

Отдельные научные положения и концепции начинают доминировать. Все, что от них хоть на йоту отличается, объявляется от лукавого. Может быть, ярлыки типа «кибернетика — продажная девка империализма» и с другими всякими «измами» впрямую нынче и не услышишь. Но суть такого подхода во многих случаях остается, пока цел в науке командно-административный и ведомственный костяк.

Существует, например, структуральная школа. И вот ее начинают всячески клеймить. И клеймить политически. А между тем это не политическая, а чисто научная школа. Не противопоставляемый марксизму метод, как кое-кто утверждает, а советская структуральная школа филологической науки. И возглавлявший ее Ю. М. Лотман — патриот, в войну не где-то в тылу отсиживался, а был на фронте боевым офицером-артиллеристом. Настоящий патриот нашей страны, замечательно пропагандирующий по телевидению Пушкина, отечественную историю, культуру.

И еще одно порождение монополизма — вторичная наука. Ее адепты без труда пользуются выводами, добытыми трудом других, настоящих ученых. Появились люди, которые в инквизиции назывались квалификаторами: им давалось право определять, где ересь, а где — нет. Такие квалификаторы узурпируют право с милицейской палочкой дирижировать движением в науке. Да кто им такое дал право?! Разве не отторгнула их от себя наука вместе с Лысенко и ему подобными?!

— *Лысенко кончился, а тенденция остается?*

— Продолжается дальше. Не в таких катастрофических масштабах, как при нем. Но по-прежнему живо прямолинейное, угрюм-бурчеевское стремление определить, кто прав, кто не прав и на сколько процентов.

Да, вторичность, порожденная монополизмом, губит науку. Но и — диалектика! — подпитывает сам монополизм. Ведь человек, захвативший регуляцию движения в науке, должен формально подтверждать свое право на это, все время «делать открытия». Все это вынуждает подобных людей паразитировать на творчестве настоящих ученых, выступая в качестве благодетелей-

соавторов, или, если те от соавторства отказываются, не давать им ходу. А то и просто «склеивать» свою концепцию из осколков двух чужих. Потом находятся не менее ловкие компиляторы, строящие на основании такой, третьей концепции «свою», четвертую. Ну и так далее.

— *Точные, рациональные знания и умения далеко не всегда напрямую связаны с представлениями о добре и зле, о порядочности и непорядочности. Не тут ли корень дефицита нравственности, о котором так много сейчас говорят в научных аудиториях?*

— Думаю, не тут. Ибо с проблемами совести, нравственных ценностей связана судьба личности в любой области ее деятельности, судьба общества, человечества. Никакие законы экономики не действуют там, где нет минимума нравственности. В среде воров, допустим. Для нормальных взаимоотношений между людьми должен быть минимум их доверия друг к другу, минимум нравственности.

А вот для того, чтобы развивалась наука, нужен даже максимум нравственности. Ибо при теперешнем ее состоянии, при ее компьютерных системах даже самая «маленькая» сделка ученого с начальственным давлением против совести и истины, угодливое молчание и самоустранение от борьбы ради душевного комфорта, а то и просто ради тривиального материального благополучия тиражируется, разрастается потом до вселенских масштабов чернобыльской беды, гибели Арала, нашего отставания на ключевых направлениях научного и технического прогресса.

В первооснове этого всегда лежат ложные якобы результаты якобы науки, добываемые ради чего угодно — диссертации, премии, академического титула, но не ради истины. Сложилась даже определенная «философия проходимости». Чтобы подтвердить свою концепцию (а она заведомо должна хорошо согласовываться со взглядами, принятыми в данный момент высшими эшелонами и государственной, и академической власти), исследователь закладывает в основу экспериментов явно неправильные данные и, как недобросовестный школьник, подгоняет сам ход решений под ответ. Но это ложь! Ведь жизнь — не задачник с ответами в конце.

Наука без морали погибнет. А это потянет за собой деградацию экономики, распад социальных связей, отношений людей. Недавняя наша история сурово подтвердила истину: в XX в. невозможно средневековыми, приказными, палаческими методами, не обращаясь к совести человека, его разуму, внутренней свободе, праву личного морального выбора, осуществить самые светлые социальные идеи. Дворцы и храмы грядущего не возводятся на крови.

И не случайно наука все меньше и меньше дает честных результатов. Мы слишком часто встречаемся с фактами плагиата, подмены научных данных, подгонки аргументации, материалов экспериментов «под ответ».

— *Итак, вы утверждаете: нравственность в науке падает. В чем причина?*

— В том, что нравственность формируется в большей мере искусством и гуманитарными науками, а у нас в АН СССР они на самом последнем месте. В президиуме АН нет ни одного филолога. В Академии наук исчезло искусствознание. Лишь в последнее время выбраны в АН два искусствоведа, и то — по разным отделениям.

Может быть, нет достойных ? Да нет же! Целый ряд ученых, не имеющих у нас даже званий членов-корреспондентов, в то же время всемирно известны: Ю. М. Лотман, М. Л. Гаспаров, В. Н. Топоров, В. В. Иванов. Сейчас мировое литературоведение следует, например, за М. М. Бахтиным, за введенными им новыми понятиями (хронотоп и другие). А для Академии все это будто на другой планете. Только в последние выборы стал членом-корреспондентом С. С. Аверинцев. Не был избран в Академию гениальный А. Ф. Лосев.

Надо ли после этого объяснять, почему у нас с искусствоведением провал и это ведет к массовому снижению уровня культуры, к непониманию искусства?! В школах о нем вообще не рассказывают или рассказывают на уровне уроков рисования в детском саду и первой гаммы. Причем даже это делают неспециалисты.

— *Но ведь есть же и прекрасные школьные искусствоведческие кружки, и творческие педагоги!*

— Но на 130 тысяч школ у нас всего 50 тысяч учителей музыки, в большинстве своем с начальным музыкальным образованием. После этого стоит ли удивляться, что серьезную музыку у нас слушает всего один процент населения, что симфонических оркестров в СССР в 20 раз меньше, чем в США (а ведь Россия еще недавно по праву слыла страной величайшей музыкальной культуры)? Мы, когда-то гордившиеся успехами своей системы просвещения, по образовательному уровню откатились на 25-е место в мире.

Такие плоды мы пожинаем потому, что по отношению к гуманитарным, духовным началам в науке, и не только в ней, по сей день действует всесильный «остаточный» принцип. Если отношение к гуманитарной науке, гуманитарной культуре человека будет оставаться в сегодняшнем состоянии, неизбежно падение и нравственности. Она ведь не стоит на месте, а либо подымается, либо падает. Конечно, если человек начнет читать Пушкина, это не значит, что он немедленно станет нравственным. Должно вырасти несколько новых поколений.

Вот посмотрите, житейский факт. Уходит из семьи отец, ему ребенок не нужен. Мать снова выходит замуж, и ей он ни к чему. А в результате — какое огромное количество сирот в нашей жизни, сколько сызмальства деформированных судеб и душ! И это в мгновение ока не поправишь. Это дело нескольких поколений — формирование в обществе нормальной семьи, чтобы у ребенка были постоянные, а не временные родители.

То же происходит и с истиной в науке, которая никому не нужна, когда идет не поиск истины, а беспардонная дележка жизненного пирога. И это уже...

— *Духовное сиротство.*

— Да, именно ! Духовность не может существовать в одиночку. Она создается или подавляется средой, в семье ученых. Какая сложилась семья — такая в ней и нравственность. И вот сегодня мы пребываем в состоянии духовного сиротства.

При этом я имею в виду, что у нас в науке мало осталось личностей, которых и коллеги, и ученики почитали бы за духовных отцов, по которым сверяли бы свои поступки, как по этическому камертону. А ведь всегда, во все эпохи в Отечестве нашем были личности,

которых современники почитали как совесть нации: Лев Толстой, Достоевский, Некрасов, Белинский. Я назвал писателей. Но могу обозначить и такой же ряд ученых.

Меня в свое время удивили вавиловские «Пять материков», и я даже написал на них рецензию. В них открывается одна очень светлая грань его личности: огромный, искренний интерес к людям в любой точке планеты, к их жизни, болям, тревогам. Характеристики людей у него поразительные. Сквозь строки просвечивает его кровная связь с окружающим обществом, но связь не административная, не абстрактно-теоретическая, а через интерес к живым, конкретным людям. Это, между прочим, отмечают и все, кто работал рядом с ним. Я знал секретаря Н. И. Вавилова. И мне запомнилось (это было еще при его жизни) ее восхищение порядочностью, честностью, этической чистотой этого человека уже в нелегкие и для него, и для страны времена. Интерес не только к своей специальности, но и к людям, снисходительность к их странностям и слабостям, понимание человеческого в человеке, сочувствие ему — очень важная черта настоящего ученого. Николай Иванович Вавилов обладал ею в высшей степени. Беда науки не только в том, что его лично уничтожили. Уничтожили его школу, его учеников, единомышленников и — уничтожили его оппонентов, сам дух развития науки через спор, дискуссию, через столкновение разных позиций, через все то, что выводило советскую генетику на первое место в мире. Ибо Лысенко оппонентом не был. То, что он сделал,— это уже вне науки и ее дискуссий.

Да, такие ученые, как Вавилов, были не только гениями, но и совестью народа. А сейчас что происходит? Среди ведущих ученых буквально единицы, с кем люди считались бы. Но ведь это важно, чтобы человек имел репутацию. Чтобы о ком-то говорили: «Это глубоко порядочный человек». Или, наоборот: «Этому человеку я не подам руки».

Часто мы не подаем руки мерзавцам? Стараемся на всякий случай подать — «чтобы не связываться». А людям нужно не подавать руки, если они совершают подлость, в том числе и предательство истины в науке.

Да, у нас сейчас многие ученые не имеют репутации.

Это первое, что предстоит восстановить из руин. И по сей день некоторые люди, числящие себя по ведомству (именно по ведомству!) науки, не стесняются выступать по одному и тому же вопросу с совершенно противоположными мнениями в зависимости от нынешней конъюнктуры. Вчера они восхваляли Брежнева, сегодня — Горбачева. Это оскорбительно по отношению к сути оздоровительных процессов в обществе. Перестройке нужны твердые убеждения, а не флюгеры.

— *Стендаль говорил: опираться можно на то, что оказывает сопротивление.*

— Верно! Сами подумайте: можно ли опереться на молодых приспособленцев, которые и в наши дни начинают с того, что носят портфель за академиком, в мечтах видя, что «племя младое, незнакомое» будет когда-нибудь носить и их портфели? Это уже генетические мутации совести, передаваемые из поколения в поколение. Это самое страшное: мы тем самым на 20, на 30 лет вперед программируем моральную бесхребетность.

Правда, в науке есть основы, противоречащие нашествию портфеленосцев. Мы часто живем нравственностью предков — наших родителей и дедов. И там, в традициях отечественных научных школ, есть на что опереться. Это еще действует. Но это не вечно, если не позаботиться о возрождении лучших традиций нашей науки.

— *Некоторые читатели сетуют: когда нынче общество сталкивается с крупными проблемами, затрагивающими интересы целых регионов или даже всей страны, Академия почему-то нередко оказывается нерешительной, робкой, беспомощной. Когда нужно было создать атомную бомбу (понятно — методами самыми жесткими), был собран необходимый интеллектуальный потенциал. А сейчас сколько неразберихи с одними водными проблемами, например. Но Академия как-то вперед не заглядывает, а все время мечется между минводхозовскими проектами, туша́ сиюминутные экологические пожары. Подобных писем, надо сказать, много. Правы ли их авторы?*

— Отвечу. Но сначала вопрос, который я все время как ленинградец задаю сам себе и моим коллегам. Возьмите уже многолетние дискуссии вокруг сооружений по защите нашего города от наводнений. Казалось бы,

позиции «за» и «против» давно определились. Но почему ни одна сторона до сих пор не может «нокаутировать» другую неоспоримыми доводами? Потому что нет настоящей гласности. И с общественной точки зрения, и с технической даже.

На том же заливе должны стоять многочисленные посты и лаборатории, оснащенные необходимой наблюдательной техникой. Население должно, как о погоде, регулярно информироваться об экологической обстановке в Неве и в Маркизовой Луже. Ничего этого нет.

Почему Ленинград — единственный крупный город на Балтике, который пока не имеет соответствующих его уровню очистных сооружений? Почему президент АН СССР Г. И. Марчук умолчал об этом, обращаясь к проблеме дамбы на экологической сессии общего собрания Академии?

Президиум АН последнее время регулярно обсуждает пожарные, горящие экологические ситуации. Но при этом ему, на мой взгляд, не хватает твердости, стойкой моральной позиции. Как можно, не унижая достоинства Академии, вообще говорить о целесообразности канала Волга — Чограй, если при разработке проекта под него не была подведена минимальная научная основа? Не принимает же Академия для обсуждения проекты вечного двигателя! В конце концов, правда, президиум высказался против канала. Но сколько мягкотелых колебаний он при этом проявил!

Да, президиуму АН не хватает моральной твердости. Слишком уж часто он выступает то в роли «исполнителя поручений» вышестоящих инстанций, то в роли коллегии некоего научного министерства. Конечно, долг АН СССР — такие поручения выполнять. Но и опережать их, не доводить дело до них в результате обострения экологической ситуации то на Байкале, то на Арале, то в Невской губе — это высшее призвание Академии. Ведь она не министерство науки, а мозговой центр, интеллектуальная сердцевина общества.

— *В науке когда-то был особый климат, высокая культура научного общения — от общих собраний Академии до чаепитий в знаменитой Лузитании — дома у академика Н. Н. Лузина, о которых до нас доходят легенды, и «александровских четвергов» — музыкальных вече-*

ров академика П. С. Александрова на мехмате МГУ, которые мне еще посчастливилось застать. Не слишком ли чиновничьей стала атмосфера научных собраний и коллективов?

— Коллективы и собрания, как и люди, бывают разные. Но в целом, пожалуй, да, утрачивается культура спора, вежливости в науке. Кроме того, сходят на нет некоторые строгие, высокоморальные традиции. Например, раньше считалось недопустимым агитировать за себя при выборах в Академию. Когда встал вопрос об избрании В. Е. Перетца в академики, он уехал в Саратов и жил там месяц, пока не прошли выборы. Чтобы и пятнышка подозрений, будто он как-то на кого-то может повлиять, не легло на его репутацию.

А сейчас? Кандидаты в академики и в члены-корреспонденты ходят и просят за себя, преподносят свои труды, а иногда даже и нечто более существенное. Требуют обещаний агитировать и голосовать за них.

Но ведь самое главное: ученый должен быть внутренне свободен в своем выборе. Он не должен быть ангажирован. Сейчас страшно развилась ангажированность, то есть приверженность к определенной группе людей, к определенным научным руководителям.

Выборы в Академию — очень характерный пример. С одной стороны, она не допустила исключения А. Д. Сахарова из своих рядов. С другой — очень много проходит в нее сейчас людей недостойных. Мы часто голосуем за людей, которых не знаем.

В АН должна быть полная информация о завтрашних ее членах, об их исследовательской, гражданской, человеческой репутации. Как к ученому относятся коллеги? Есть у него научные противники и какие позиции они отстаивают? Способен ли он оценивать приращение, прогресс в науке, выходя за границы той ее области, где работает сам?

— *Кстати, об этой способности. Сейчас, при развитии информации и ее машинной базы, возможности переключаться из одной области науки в другую резко усилились. И одновременно чувствуется в личностях многих исследователей сужение диапазона научного охвата жизни. Откуда этот парадокс?*

— Дело не столько в специализации или кооперации разных научных областей, сколько во внутренней — тайной, как говорил Блок о Пушкине, но к любому творчеству это приемлемо — свободе, в способности не сращивать свой мозг с одной какой-либо догмой.

Трезвая самооценка любого ученого, как и любого общества,— это лучшая почва для выхода на духовные вершины, на острие мирового прогресса, на пути первопроходцев.

— *Не оттого ли, что мы стали утрачивать эту трезвость, и в нашей науке, и в психологии общества начинает утрачиваться дух первооткрывательства? В послеоктябрьские годы первородство было во всем — и в поисках новых путей развития общества, и в культуре, и в науке. Возвращенные нам сегодня имена Вавилова и Булгакова, Чаянова и Филонова — имена первооткрывателей. Не теряем ли мы этот дух?*

— Теряем. Чтобы быть первооткрывателем, чтобы ощущать свое первородство в мире, нужны научная дерзость и духовная свобода. Но где и когда вы видели их на административных лестницах, где человек и не личность уже, а лишь ступенька в ряду других ступенек — выше и ниже?

— *Как быть с молодежью в науке? Ведь в конечном итоге все решится ею. Уйдет сегодняшнее поколение исследователей со всеми их светлыми и темными чертами и началами. Работать в науке и руководить ею будут сегодняшние молодые. И будут работать и командовать либо по принципам Курчатова и Капицы, либо... Как обеспечить молодым ученым верный нравственный выбор?*

— Это проблема чрезвычайно большая и больная. Потому что Академия наук — не остров в океане. Она связана с нравственным климатом всей страны. И это меня больше всего беспокоит. Если люди думают, что перестройка совершится в 3—4 года, то я скажу, что они ничего не понимают в жизни.

Разрушать всегда очень легко. И вы посмотрите: несколько десятилетий командно-административная система разрушала нравственные основы общества. Должно пройти длительное время, чтобы мы их восстановили. Так что наивно надеяться, что есть какой-то вол-

шебный золотой ключик, при помощи которого уже в следующей человеческой генерации можно получить высоконравственное научное сообщество. Это работа нескольких поколений. А вот по каким путям здесь идти, об этом, по-моему, и был весь наш разговор.

1989 *Диалог вел Ким Смирнов*

МЫСЛИ О КУЛЬТУРЕ БУДУЩЕГО

Нужды культуры

Путь, по которому должно идти развитие культуры, мне кажется, ясен. Он, в общем, соответствует и тому духу, который начинает господствовать в «европейском мышлении» — мышлении прогрессивных слоев европейской интеллигенции, насколько оно определилось, например, на встрече министров культуры европейских стран в начале ноября во французском городе Блуа. Это прежде всего преимущественное обращение к человеческим ценностям. Возвращение к гуманитарным наукам, искусствам, моральным богатствам. Подчинение техники интересам гуманитарной культуры. Это — развитие индивидуальных особенностей каждого человека. Свобода развития человека, человеческой личности в том направлении, которое больше всего способствует выявлению талантов, всегда индивидуальных, всегда «неожиданных». Формирование личности, сопротивление обезличивающей человека «массовой культуре». Отсюда вытекает и другое чрезвычайно важное направление: сохранение национальной индивидуальности во всех сферах культуры. Путь к подлинному интернационализму лежит через признание ценности и самостоятельности всех национальных культур.

Советский Союз и в нем Россия были и остаются государственными объединениями, чья культура развивалась через обмен культурным опытом огромного числа народов и наций, вошедших в их состав. Ни одна страна в мире не имеет такого разнообразия и такого взаимопроникновения культур, как наша.

Общая структура культуры

Мы судим о культуре любого народа по ее вершинам. Русскую культуру представляют Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Мусоргский, Чайковский и т. д., и т. д. Именно культура высшего порядка характеризует страну и народ — в первую очередь. Это отлично понимают туристы, изучающие в «стране прибытия» музеи, театральную жизнь, шедевры архитектуры, историю городов.

Что же нужно для существования культуры в ее высших проявлениях? Прежде всего — среда представителей высшей культуры. Необходимы встречи, знакомства, обмены мнениями, обсуждение произведений творчества на высоком уровне. А для этого необходимы различные ассоциации, общества творческих представителей, кружки, места встреч и знакомств, свободный обмен творческими замыслами в благожелательной обстановке. Организация культурной жизни — дело не только государственных, но и общественных учреждений. В первую очередь это дело фондов культуры, в которых все люди с творческой инициативой должны чувствовать себя хозяевами, а не просителями.

Не следует опасаться существования в стране элитарной культуры. Элитарность крайне опасна только тогда, когда она опирается на протекционизм, «заслуги родителей» или на собственное чиновничье положение в обществе, когда элита строго ограждает себя званиями, степенями, даже просто возрастом или должностями. Но элитарная культура талантов и образованных людей непременно должна существовать в нормальном культурном обществе.

Цели и характер образования

Культура в человеке воспитывается с самых первых лет его жизни. И эти первые годы наиболее ответственны. Ясли, детские сады, средние школы! Если мы можем четко ставить задачей высших учебных заведений передачу знаний и профессиональных навыков, то начальное и среднее образование должно быть прежде всего посвящено воспитанию.

Что воспитывать? Нравственность в широком смы-

сле этого слова: нравственное отношение к другим людям, другим нациям, к труду и т. д.

Воспитательное значение имеют преимущественно гуманитарные дисциплины и искусства. Понимание искусства и развитие в себе хотя бы начатков творческих способностей в художественной области не только способствуют нравственной стабилизации личности, ее общей интеллигентности, столь необходимой во всех областях человеческой деятельности. С помощью искусств главным образом и развивается интуиция, за которой не угнаться никакому компьютеру. Вот почему виднейшие математики и физики были музыкантами, интересовались поэзией, любили чтение классических произведений. Отсюда ясно, что при преподавании литературы необходима установка на развитие понимания художественной прозы, поэзии. Умение пере-изложить в требуемом духе то или иное призведение по программе не воспитывает любви к литературе. Скорее наоборот! Преподавание — это творчество, оно требует от учителя таланта, любви к тому, что он преподает, широких знаний. Преподаватель должен иметь некоторую свободу, останавливаться дольше всего на том, что он любит сам и считает необходимым для своих учеников. Преподаватель словесности был в XIX и начале XX в. властителем дум молодежи, и таким он должен снова стать в будущем.

Необходимо также понимать, что ничто так не воспитывает молодежь в нравственном отношении, как музыка, и особенно участие в хоре. Хор пробуждает в человеке чувство своей причастности к другим людям, единства с ними.

Надо ввести в школе преподавание логики. Больше всего поражает в нашей общественной жизни отсутствие культуры спора, аргументации и отстаивания своих убеждений. А между тем нам необходимы поколения людей с убеждениями, принципиальные и честные не только перед обществом, но и перед самими собой, обладающие чувством своего достоинства.

Школы должны воспитывать индивидуальность человека. И для этого особенно важны чтение классики, знание литературы, искусства, конкретной истории — с людьми и событиями, героями и преступниками. Школы должны быть разными, с различными уклонами.

Могут быть и элитарные, но не по служебному положению родителей, а по выявившимся способностям самих учеников. Без таких школ мы не добьемся хороших специалистов в любых областях. Представляю себе элитарные школы, в которых учащиеся проявили бы особый интерес к различным ремеслам, ботанике и т. д. До сих пор мы думали только о школах с математическим уклоном или с преподаванием на иностранных языках.

Кстати, об иностранных языках. Напрасно думают, что школа должна учить преимущественно разговорному языку и готовить учащихся к встречам с иностранцами. Главное — усваивать грамматическую систему языка и обучать читать с помощью словаря. Помимо практического значения и развития возможностей знакомства с чужими культурами, преподавание иностранного языка развивает учащихся умственно, помогает лучше усвоить особенности родного языка. Интеллигентный человек не должен ограничиваться знаниями на родном языке. Он должен быть в курсе всего. И не случайно, когда хотят подчеркнуть чью-либо образованность, упоминают, сколькими языками он владеет.

А в целом свобода выбора различных школ, различных программ, создание школ, имеющих свое лицо,— необходимое условие развития культуры в стране.

О науке

Наука — важнейшая часть культуры. Я не буду рассуждать о всей науке, только о той ее части, которая имеет к культуре непосредственное отношение,— о филологии, искусствоведении и истории. Они находятся в загоне, и авторитет их низко упал из-за их политизации.

Литературоведение в значительной своей части выродилось в журналистику. От него требовали освещения авторов и произведений только под определенным, сегодняшним углом зрения. Забыли о существовании таких основных дисциплин, которыми особенно славилась русская филология: текстоведение, источниковедение, стиховедение и т. д. Отдельные дисциплины, обвиненные в смертных грехах, привлекались к суду невежд. В космополитизме обвинили сравнительное литературоведение (и это в стране, где жил и работал такой ве-

личайший авторитет в этой области, как Александр Веселовский!). Поэтику и стиховедение обвинили в формализме. Текстологией, источниковедением перестали заниматься. Библиографию локтем спихнули со столов академических издательств.

«Неактуально»? А выдававшиеся за актуальные многотомные труды никто не читал. Их ставили на полки и лишь изредка обращались к ним за справками...

В науке, как мне кажется, следует стремиться к тем же общим целям, что и в народном образовании. В фундаментальных науках должны культивироваться различные направления и образовываться научные школы. Для этого нынешние научные сообщества часто слишком велики, слишком перегружены малоспособными сотрудниками (именно «со-трудниками», мешающими труду способных работников). Ученые нередко заняты выполнением научных планов «по валу». Я имею в виду в первую очередь гуманитарные институты, где сотрудники отчитываются не научными открытиями, а печатными листами по определенным темам, перегружая издательства многословными работами.

Формальные характеристики (по типу выдаваемых месткомами) подменяют репутацию научного работника при выборах в Академию. Само понятие «репутация» перестало у нас существовать, хотя без репутации ученого трудно представить себе создание различных научных школ и направлений. Мы слишком долго полагали, что в науке необходимо добиваться «единомыслия», единых взглядов на решение проблемы, и стремились непременно увидеть в инакомыслящих ученых не то «врагов», не то лжеученых.

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть: в науке необходимы всяческое разукрупнение и забота о получении «неожиданных», а не запланированных результатов.

О нашем наследии

На заседании Комитета Верховного Совета СССР по науке, народному образованию, культуре и воспитанию Д. А. Гранин предложил создать список хотя бы из

50 памятников культуры, которые надо спасать немедленно. И действительно, темпы разрушений таковы (особенно в районе армяно-азербайджанского конфликта и в местах других национальных противостояний), что через несколько десятилетий мы истребим свою культуру. И наши потомки будут изучать фундаменты, как мы изучаем сейчас фундаменты домонгольских церквей в Киеве, Смоленске... Хорошо бы подсчитать темпы гибели памятников по десятилетиям. Эти темпы ускоряются сейчас ничуть не меньше, чем темпы гибели лесов и загрязнения воды.

Хотя бы пятьдесят памятников, хотя бы... Но чтобы они были быстро, а главное, добротно законсервированы или отреставрированы.

Составление такого списка на 1990 г. — дело неотложное.

Было бы неправильным прилагать к культуре излюбленную формулу, с которой начинаются официальные документы и обращения: «В целях дальнейшего развития...» На первых порах нужно думать не о «дальнейшем» развитии, а о спасении, сохранении и восстановлении. Поэтому на первые годы наших культурных программ следует максимально повысить статью расходов по массовой консервации памятников культуры: ставить крыши, предохранять от разрушения. Консервация обходится гораздо дешевле, чем реставрация, требующая исследовательской работы, поисков в архивах, составления сложной документации. К тому же у нас нет и достаточного количества реставраторов.

Откуда же брать средства на сохранение и восстановление памятников культуры? Можно предложить разные способы. Один из самых действенных — шефство крупных предприятий и учреждений над тем или иным памятником. Другой — создание обществ друзей какого-либо определенного парка, сада, дворцового ансамбля, обществ благоустройства исторического селения, древнего места. Участники таких обществ, как и предприятия, взявшие шефство над памятниками, могли бы иметь некоторые преимущества с устройством поблизости квартир, дач, домов отдыха.

Нравственность и культура

Уровень нравственности в обществе теснейшим образом связан с уровнем культуры, а он продолжает падать. Но что делать, чтобы возможно быстрее поднять уровень нравственности? Чтобы воздействие культуры на общество осуществлялось уже на самом раннем этапе ее подъема? Чтобы сам подъем нравственности в обществе был знамением подъема культуры, и наоборот?

Было бы совершенно нереально надеяться на то, что одни только государственные ведомства смогут осилить эту задачу. Сегодня необходима как воздух общественная инициатива. Советский фонд культуры готов содействовать разного рода начинаниям. Но этого мало. Нужно пробудить широкую инициативу по созданию различных обществ, ассоциаций, клубов. Для примера приведу возможные типы ассоциаций: «Общество друзей Павловского парка» (кстати, такое общество уже есть в США, но его нет в Ленинграде), краеведческие общества, кружки по восстановлению трудовых традиций крестьянства той или иной местности, по изучению трудовых традиций рабочего класса, кружки под названием «посиделки» для совместных занятий во внерабочее время (вязание, шитье, кружевоплетение), хоровые организации.

И я думаю, что следует образовать добровольные общества без жесткой организационной структуры, когда люди (особенно подростки) брали бы на себя обязательства, прежде всего перед самими собой, «жить по правде», соблюдать «честь и достоинство», не проводить «ни дня без доброго дела» (здесь хороши были бы самоотчеты, ведение дневников добрых дел, внимание к добру). Я уверен, что такие ассоциации имели бы определенный успех, — добро заразительно.

Молодежь, почувствовавшая счастье добра, правды, чести, достоинства, сохранила бы это отношение к жизни на все годы.

Я бы также особенно настаивал на организации различных полезных коллективных занятий для людей пенсионного возраста и просто престарелых. Найти

себя в каком-либо полезном для общества занятии — это сделало бы счастливыми тысячи стариков и, смею утверждать, продлило бы им жизнь.

Архивы, музеи, библиотеки

Необходимо объединить руководство всеми архивами (хотя бы в пределах РСФСР). Выработать положение об архивах, соответствующее нынешней эпохе гласности. Такое положение как будто бы вырабатывается, но будет ли в него включен главный пункт любого из европейских архивных учреждений: точное установление срока давности, после которого все без исключения архивные дела рассекречиваются? Пусть это будет 30 — 40, даже 50 лет. Иначе появляется повод для произвола архивного «начальства». Архивные дела выдаются одним ученым и не выдаются другим. При такой практике не проверить, когда это необходимо, правильность использования архивного документа.

Вообще следует ввести какие-то правила на уровне законодательных, в силу которых дирекции архивов, музеев и библиотек должны были бы отчитываться перед Верховным Советом за сохранность вверенных народом ценностей. Не могли бы продавать, обменивать, передавать в другие учреждения, отправлять на длительный срок за границу наши национальные ценности. Допустимо ли, что сейчас большинство музеев, архивов и библиотек, а также учреждения, в ведении которых находятся эти хранилища (министерства, академии наук республик или Союза), считают возможным выдавать или не выдавать, посылать за рубеж «в массовом порядке» выставки, тем самым надолго лишая наших граждан возможности удовлетворять свои культурные запросы?

Допустимо ли, чтобы единственный по своим богатствам Всесоюзный музей Пушкина лежал в Ленинграде, в ящиках, многие годы лишенный возможности воспитывать, учить, да и просто познавать нашего величайшего поэта?..

Увы, я мог бы привести множество примеров, когда

целые разряды произведений культуры остаются недоступными для исследователей и народа.

Культура и религия

Не представляет сомнений, что религия — явление культуры, что многотысячелетняя история человечества в основном развивалась в рамках различных религий. Это касается и морали, и обычаев, и обрядов, а также музыки, архитектуры, изобразительных и прикладных искусств. Поэтому изучение религий как культурных явлений составляет необходимую часть образованности каждого человека. Вспомните, что без знания основных событий Ветхого и Нового заветов, житий святых, как и без знания исторических событий и исторических лиц, невозможно посещение любого из музеев изобразительных искусств. Знание религий, а особенно религии своего народа, необходимо для самопознания народа и не обязательно связано с верой. Поэтому учащимся следует давать представление о «мифологии» различных религий хотя бы на уроках истории. Что же касается преподавания вероучений, религиозной проповеди, то они должны вестись в церковных помещениях. Это необходимо еще и в тех случаях, когда проповедничество, милосердие, воспитание нравственности на основе веры входит в основные требования религии (как, например, в христианстве). Верующим различных религий следует предоставить широкие возможности заниматься добрыми делами, организовывать приюты для неразвитых детей, престарелых или безнадежно больных людей.

Преподавателям необходимо воспитывать уважение и терпимость к верованиям и убеждениям человека, разумеется, и атеистическим. Эмоциональное (прежде всего связанное с отрицательными эмоциями) отношение к верованиям и убеждениям может обернуться неприятными последствиями, вплоть до национальной вражды.

Очаги культуры

Выше я высказал различные предположения о том, как, по моему мнению, должна развиваться культура.

Какой идеей эти все предположения могут быть объединены? Думаю, что это идея «очагов культуры». Не просто децентрализация культуры, а заботливое отношение к малейшим ее проявлениям. Культура произрастает в незначительном, горит пламенем, а если перестает гореть, от нее остаются пепелища и кострища: места, где когда-то жили люди. Огонь культуры — это не пожары, а скорее отдельные очаги и огоньки, освещающие жизнь.

Без культуры не может продолжаться жизнь. Была великая культура русского крестьянства: свои трудовые навыки, свое знание природы и земледелия, свое изобразительное искусство, украшавшее быт, свой словесный фольклор, своя музыка — от частушек до церковного пения. Все это делало деревенскую жизнь радостной, притягивало крестьян к земле, на которой они оставались, несмотря на все соблазны городской жизни.

Не одной грамотностью определялась культура человека. Крестьянская культура была очень высокой. Особенно в тех районах, где не существовало крепостного права, где обрабатываемая крестьянином земля была его собственностью и он знал, что она перейдет к его детям.

Смею утверждать, что своя культура труда и взаимоотношений уже в XIX в. зарождалась у рабочего класса. Я застал еще навыки рабочей морали у старых наборщиков.

И хотя новое должно основываться на добрых традициях старого, все же новое нужно творить в основном из нового же, из новых отношений в обществе. Это новое должно быть разнообразным и многообразным, чтобы каждый нашел в нем свое, чтобы человек вырастал не только свободным, но и на основе свободного выбора того, что больше всего соответствует его натуре. Свобода в культуре — это не произвол, а возможность найти свое в многообразии существующей культуры. Без ее многообразия, без высоких и разнообразных средних школ, отдельных ученых в науке, без многообразия театральной жизни, без свободного университетского распорядка занятий, без различных направлений в искусстве и философской мысли — без всего этого развитие культуры невозможно.

Культура должна быть не просто обращена к человеку. Она должна быть обращена к людям с различными, непредугаданными способностями и талантами, предоставив им возможности для свободного произрастания.

1989

ЭКОЛОГИЯ ДУХА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Были годы, и совсем недавно, когда выдающегося специалиста в области русской культуры академика Д. С. Лихачева руководящие товарищи не рекомендовали избирать даже в правление Ленинградской писательской организации. Прошли те времена. Теперь Дмитрий Сергеевич — Герой Социалистического Труда, председатель правления Советского фонда культуры. Коллеги по фонду избрали Д. С. Лихачева народным депутатом СССР. Были годы, когда священнослужитель не мог быть избранным даже в райсовет. Теперь иное дело. Митрополит Волоколамский и Юрьевский, председатель издательского отдела Московского Патриархата, профессор, доктор богословия Питирим, член правления Советского фонда культуры, также избран народным депутатом СССР. Еще кандидатами они встретились с активом СФК, общественностью Ленинграда. Встреча стала диалогом единомышленников.

— *А какие главные задачи перед собой ныне ставят академик Д. С. Лихачев и митрополит Питирим?*

Д. С. Лихачев. Я думаю, митрополит Питирим поддержит мою мысль: одна из самых главных задач нашего общества — поднятие нравственной культуры народа. Никакие, даже экономические, законы не смогут действовать в стране, если нравственная культура будет находиться на низком уровне. XXI в. будет веком гуманитарных наук, и, если мы это не осознаем, не сделаем ничего, чтобы подготовиться к этому, мы погибнем. Но для того, чтобы гуманитарные ценности заняли соответствующее место в нашей жизни, надо переос-

мыслить, изменить многие наши законы. У нас есть статьи, защищающие, скажем, памятники культуры, но они практически бездействуют, ибо к ним нет серьезных подзаконных статей, которые бы установили, какое наказание, какое возмездие должно настигнуть тех, кто покушается на культурные ценности.

Питирим. Действительно, культура в развалинах, и поднимать ее будет очень тяжело. Фонд культуры — очень емкое понятие, но для меня прежде всего — это фонд человеческий, неиссякаемый и постоянно пополняющийся. Духовное воспитание человека — основа основ нашей подвижнической деятельности. Ставить перед собой какие-то цели я могу только с учетом условий, в которых мне приходится действовать. На встрече в Ленинграде я получил вот такую весьма язвительную записку: «Что побудило Вас наряду со служением Всевышнему заняться мирской суетой? Вы полагаете, что на новом поприще Вы сможете помочь людям больше, нежели молитвами? И неужели для Вас служение Богу стало менее важным, чем служение людям?» Что ответить этому человеку? Церковь — это, конечно, не кучка представительных иерархов, пользующихся преимуществами жизни, а, если хотите знать,— это народ. Русская православная церковь никогда не была элитарной, замкнутой. От князя Владимира до наших дней русская церковь — это прежде всего народ. Я должен сказать, что Запад ждет возрождения нравственности, духовности именно от России, от Русской православной церкви. России — не только как исключительного модуля русских, нет, той России, которая известна под названием Святая Русь. С Дмитрием Сергеевичем у нас есть общие программы — «Этика и культура», «Религия и культура». Все эти годы мы вели большую совместную работу, цель которой — определить общие для всех людей принципы совместного выживания, совместного существования. Нет, это не отвлеченная теоретическая, моралистическая идея. Апостол Иаков в своем Послании говорит: «Покажи мне веру дел от дел твоих».

— *Как вы считаете, Дмитрий Сергеевич, выработан ли надежный государственный и общественный механизм, гарантирующий перемены в нашем государстве?*

Д. С. Лихачев. Обычно отвечают: эти гарантии

в нас самих, в каждом из нас. Но меня такой ответ не устраивает. Что-то мы не преуспели таким, скажем, абстрактно-нравственным путем в прошлом. Мало нашего желания. Гарантии перемен должны быть обязательны с точки зрения закона. Жизнь изменяется очень быстро, приносит много нового. Так вот, основные, конструктивные положения перестройки, основные завоевания нашей демократической жизни должны быть зафиксированы в Конституции. Перемены должны быть постоянными и не вызывать у людей страха: перестройка закончится, а что тогда будет со мной? К сожалению, история нашего общества столь драматична, что опасения людей вполне понятны.

Один из самых серьезных врагов нашей перестройки — это «административное вранье», когда во имя ведомственных интересов от общественности скрывается правда, не говорится об истинном положении дел в экономике, науке, культуре. Общество долго мирилось с так называемыми приписками — этими безнравственными по сути своей действиями администрации. Для того чтобы гласность действовала, для того чтобы уровень нравственной культуры поднимался, необходимо просто уничтожить административное вранье, считать его антизаконным, недопустимым явлением в нашем обществе, а людей, повинных в таком деянии, привлекать к серьезной ответственности. Полуправда — она иногда хуже вранья, потому что она похожа на правду. Борьба с административной дезинформацией, парализовавшей наше общество,— это борьба за гласность, борьба за демократизацию страны.

— *В связи с этим как вы относитесь к ленинградской дамбе, призванной защищать город от наводнения?*

Д. С. Лихачев. Для меня несомненно, что строительство дамбы было ошибкой и даже преступлением. Почему? Оно шло без учета мнения многих специалистов, кто протестовал против проекта, выдвигал свою версию. Проект и строительство пали на годы так называемого застоя, и потому он демократическим путем не обсуждался. За это мы сейчас расплачиваемся и будем еще расплачиваться. Ученые давно бьют тревогу: происходит катастрофическое ухудшение экологической обстановки на Неве, Финском заливе, Балтийском море. Нас долгие годы обманывали: дамба строит-

ся во имя Ленинграда, предохранения его от стихии, но сейчас становится все очевиднее: дамба приносит вред не только тем, что ухудшает экологическую обстановку, но и тем, что на нее тратятся колоссальные денежные и материальные ресурсы. Рассказывают, что когда идет лед, то суда не могут войти в порт. В эти дни, по существу, закрывается «окно» в Европу. Понимаете, кроме экономического ущерба, я все больше задумываюсь над нравственным ущербом. Сейчас никто не знает, что с дамбой делать. Не знаю, право, и я. Есть предложение дамбу разобрать, но не повлечет ли это ухудшение экологической обстановки? Ведь грязь распространится по всему Финскому заливу, засорит Балтийское море. Сейчас работает независимая комиссия Академии наук СССР, будем ждать ее выводов. Аналогичная в чем-то ситуация произошла и с проектом строительства культурного центра зарубежными фирмами на Лисьем Носу. Мы долго не знали, что же предполагают построить. Не будет ли в этом проекте профанации культуры? Ведь при том, что культура в нашей стране падает (а это установлено определенными цифрами), создавать еще один «центр падения культуры» нужно ли? Повторяю, идеи проекта нам не известны, надо, чтобы деятели культуры приняли участие в его создании, а затем он широко бы обсуждался, как, впрочем, нам и обещают.

Гласность состоит не только в свободе слова, не только в праве говорить то, что считаешь нужным для дела, что согласуется с твоей совестью, но и в обязанности администрации своевременно сообщать населению правду о проектах, как, например, дамбы или Лисьего Носа, проектах законов, положений, о состоянии экологической обстановки, об опасностях, которые грозят людям от иных предприятий, вредных для здоровья. И тут никаких государственных тайн быть не должно! Сокрытие аварии на АЭС — это государственное преступление! Сокрытие аварии на химическом заводе — государственное преступление! Неверная информация, полуправда — это тоже преступление! Уроки Чернобыля нам уже это доказали, но они, видимо, далеко не всеми усвоены. Как бороться с полуправдой, с дезинформаций? Люди протестуют — и это правильно, это не только их конституционное право, но и их мораль-

ный, нравственный долг. Мне нравятся уличные демонстрации, ну нравятся, в них ощутима идея свободы. Но полагаться только на демонстрации как на систему изучения общественного мнения — это неправильно.

Формы и методы изучения общественного мнения должны быть строго научными, а не случайными. На раннем этапе создания каких-то, допустим, экономических проектов, как дамбы, или культурных — таких, как Лисий Нос, необходимо изучить общественное мнение. Когда же на проекты или на строительство затрачены огромные средства, время, то их создатели волей-неволей вынуждены защищать эти идеи, и делается это испробованными методами — люди, протестующие против этих проектов, обвиняются в экстремизме (особенно наша неравнодушная молодежь) и других социальных «грехах». А на самом деле никаких-то грехов за народом нет, есть грехи административной системы, работающей по старинке, работающей недемократично. Думаю, что надо повсеместно создавать центры по изучению общественного мнения, необходим государственный институт изучения общественного мнения. В правовом и демократичном государстве, в котором действительно заботятся о нравственной культуре, такой институт просто необходим.

Питирим. Дмитрий Сергеевия говорил о многих наших социальных, экономических болезнях, а они отражаются и на душе нашей, у нас общая боль, у нас общие задачи. Взять хотя бы проблему бывших воинов-«афганцев». Сколько молодых людей пришло с этой войны калеками, с духовными ранами! А сколько осталось вдов, детей-сирот, сколько рыдает матерей, потерявших в Афганистане детей своих! Мы сейчас работаем над программой «Долг». В Волоколамском районе на приходской основе решили выделить несколько домов с земельными участками для бывших воинов, вдов. Там можно будет провести отпуск, отдохнуть, покопаться в земле. А в разрушенном фашистами имении будет создан реабилитационный центр для раненых.

— *А не приходится ли вам сталкиваться с непониманием людей, наделенных властью и призванных решать проблемы церкви?*

Питирим. Довольно трудно после долгого периода,

мягко говоря, экскоммуникации говорить об участии в общественной жизни. Но что мы делали все эти годы? Служили в церквах, служили людям, народу. Только об этом не принято было говорить. Сегодня — иное дело. Конечно, мы сталкиваемся и с непониманием, и с нежеланием нам помочь, особенно у чиновников старшего поколения. Молодые смотрят на церковь, ее задачи более широко и демократично. Тем не менее перемены разительны. Только в прошлом году нам удалось открыть 1002 прихода. В недавние годы мы радовались, когда открывалось несколько приходов.

Д. С. Лихачев. В нашей стране долгие годы процветали нетерпимость, предубеждение по отношению к церкви и церковнослужителям. В такой идеологической, психологической атмосфере, безусловно, деформировались декларированные принципы взаимоотношений церкви и государства, допускались серьезные нарушения. Например, церкви, вопреки религиозным убеждениям, вопреки ее принципам гуманности, милосердия, запрещалось заниматься благоустройством больниц, домов для престарелых, уходом за больными и немощными людьми. Сейчас, когда разрабатывается закон о свободе совести, надо продумать его во всех деталях, а главное, гарантировать невмешательство государства в дела церкви и церкви в дела государства. Прежде всего необходимо прекратить оказывать давление на церковь в вопросах назначения настоятелей храмов, священников, митрополитов... Это внутренняя жизнь церкви. Другое дело, когда государству нужно предоставлять церкви помещения храмов, монастырей или разрешать строительство новых. Такое вмешательство я только приветствую.

— *Владыка Питирим, могут ли измениться отношения государства и церкви в связи с возрастанием роли церкви в нашей духовной жизни?*

Питирим. Отделение церкви от государства — явление историческое, это итог развития всей европейской цивилизации. Но вот степень удаления и отдаления — это проблема серьезная, практически важная. Отвечая на такой вопрос, я всегда вспоминаю слова мудрого нашего старца, патриарха Сергия, сказанные им в конце 20-х годов, что церковь отдалена от государства, но не удалена из него. Однако взаимоотноше-

ния церкви и государства нужно моделировать, строить, создавать почти что заново. Здесь важно, каким будет закон о свободе совести. Идет трудный, но, на мой взгляд, плодотворный процесс улучшения взаимоотношений государства и церкви. Но особенно плодотворен процесс взаимоотношений церкви с общественными организациями, занятыми проблемами милосердия, сохранения мира, реставрации культуры, духовного возрождения народа.

— *Что может эффективно содействовать повышению нравственности народа?*

Питирим. Конечно, культура. И здесь мы с Дмитрием Сергеевичем надежные союзники. Огромное внимание мы должны уделить культуре семьи, культуре взаимоотношений полов, проблемам молодежи. Ненадежные семьи, разводы — наша общая боль. Только высокая шкала нравственности может быть измерением будущего человечества. Ведь мы живем, простите, как однодневки. А, по-видимому, все-таки человечеству — и с богословских позиций, и не с богословских — принадлежит вечность. Вот к этой вечности нам всерьез надо относиться, вот эти вечные нравственные ценности нам надо поднимать и охранять. Проблемы нравственности — в самом широком понимании этого слова — являются нашей общей программой — и для церкви, и для Советского фонда культуры, и для Международного фонда за выживание человечества, где мы сотрудничаем вместе с Дмитрием Сергеевичем. По инициативе Дмитрия Сергеевича, академика Велихова и моей открылась и уже успешно работает в Москве Академия мировых цивилизаций, где известные богословы Европы читают курс лекций по истории религий. Изучается вопрос о создании Института духовного наследия. Вместе с правлением Союза писателей РСФСР создан Фонд славянской письменности. Как видите, мы вместе, и не на словах, а на деле, беспокоимся, как поднять человеческий фонд культуры. Все чаще и чаще нас беспокоят проблемы экологии духа человеческого, и поэтому в нашем церковном издательстве мы подготовили семинар «Экология духа». С Дмитрием Сергеевичем мы размышляем о двух важнейших проблемах — экологии Земли и экологии духа человеческого. И вы знаете, их нельзя решать раздельно. Справедливо

говорил академик: от уровня культуры нравственности зависит экологическое состояние планеты. Поэтому в совете директоров Всемирного международного фонда за выживание мира и человечества, который проходил в январе в Москве, мы так много говорили об этом, и было принято решение в январе будущего года провести экологическую конференцию.

— *Сейчас много говорится о приоритете общегуманистических ценностей над классовыми. Какова ваша точка зрения, Дмитрий Сергеевич?*

Д. С. Лихачев. Проблема не новая, она решалась и решается в упорной борьбе против вульгарных догм нашей общественной науки, которая являлась покорной служанкой политиков. Сегодня становится все более очевиден тот факт, что если лозунг все прдолжающейся непримиримой классовой борьбы, борьбы стран с различными социально-политическими системами не будет снят, возможна всемирная военная катастрофа. Но и по сути своей, по духовной, а не только политической, этот догмат не имеет реальной нравственной силы. Сегодня нам, как никогда, важно сохранить человека и Человечество. Проблема экологии культуры, экологии души человеческой примыкает к проблеме экологии Земли. Так, казалось бы, чисто нравственные проблемы обретают силу стратегических политических проблем.

— *А какие проблемы, Дмитрий Сергеевич, вы отнесли бы к разряду стратегических в культурной жизни страны?*

Д. С. Лихачев. Их так много, но из сонма проблем я бы выделил одну — повышение авторитета работников культуры, народного образования, особенно низовых звеньев. Я бы их назвал почетным званием «чернорабочие культуры», Ну, вы подумайте, как могут нормально жить и работать, обладать несомненным авторитетом люди, занимающиеся благороднейшим делом, если они получают буквально нищенские зарплаты?! Особенно сельские библиотекари, культпросветработники, учителя. Учитель должен быть первым лицом в своем поселке, в своем селе. Первым лицом по своему общественному положению, по своему общественному авторитету. Он должен быть советником не только для своих учеников, но и для их родителей. Он должен — на-

равне с библиотекарем, культпросветработником — возглавить культурное движение на селе. А все они влачат полунищенское существование. Я считаю правомерным, что учитель может получать больше, чем директор школы, если он хороший учитель, актер — больше, чем директор театра, экскурсовод — больше, чем заведующий экскурсионным бюро, специалист по экспозиции — больше, чем заведующий отделом музея или директор музея, если, конечно, они стоящие работники. Где взять деньги на повышение зарплаты? Частично — за счет сокращения не нужных никому руководящих работников в этой сфере.

— *Сейчас много говорят о хозрасчете, видя в этом панацею от всех бед в культуре. Пока же, на мой взгляд, хозрасчет активно борется против «человеческого фактора». Дорожают услуги в учреждениях культуры, все больше становится платных кружков, спортивных секций для детей и молодежи. Какова ваша точка зрения на проблему хозрасчета?*

Д. С. Лихачев. Хозрасчет в области культуры надо понимать широко и по-разному. Допустим, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, где я работаю, он еще может себя окупить. За ним авторитет. В конце концов — авторитет русской классической литературы. Но как могут библиотеки, небольшие клубы перейти на хозрасчет? Во всех цивилизованных странах на нужды культуры выделяются немалые средства, ибо это сфера духовная. Ждать от всех учреждений культуры немедленной идеологической или духовной отдачи бессмысленно, ибо они работают, так сказать, на долгую перспективу. Хозрасчет же у нас рассчитан на немедленную отдачу.

— *На встрече с избирателями и активом Фонда культуры вы получили записку, автор которой, помнится, обвинял вас — и совершенно безосновательно! — в национализме.*

Д. С. Лихачев. Мои общественные взгляды общеизвестны. Я против любого национализма, за патриотизм каждого народа. Меня же иногда обвиняют то в национализме, то в антирусских настроениях. Я думаю, что это делают очень невнимательные читатели моих произведений. Я не устаю повторять: национализм прямо противоположен патриотизму. Мы обяза-

ны быть патриотами. Патриотом обязан быть каждый народ по отношению к своему народу, но националистами мы никогда и ни при каких случаях быть не должны. К агрессивным тенденциям, достойным осуждения, я отношу национализм. Агрессивность общественного сознания порой проявляется в чрезвычайно сильной форме — в этом я вижу результаты десятилетий тирании Сталина. Я не такой благодушный человек, как может показаться. Да, я за запрещения. За запрещение грубых форм национализма. Запрет на убийства, кражи, то есть уголовно наказуемые действия, в том числе и порнографию. Правда, порой очень трудно отделить порнографию от непорнографии. Здесь важен принцип цели: во имя чего это делается. Так, мне пришлось для суда выдавать справку, что найденная у подсудимого «Лолита» В. Набокова не является порнографическим произведением.

— *Я знаю, что есть люди, хлопочущие о принятии Закона о культуре, в котором бы предусматривались запреты на исполнение произведений рок-музыки. Как вы к этому относитесь?*

Д. С. Лихачев. Это неправильно. Лично я не смотрю некоторые эстрадные или рок-представления, мне они не по душе. Но запрещать рок — это старые меры. Надо противопоставить рокомании молодежи классическую культуру. Поэтому я так хлопочу об обществе «Классика» — и не только для школьников и студентов, но и для взрослых. Мы в свое время гордились своими знаниями, гордились знанием классики, этого, увы, сейчас нет. С этой точки зрения у меня есть серьезный упрек к руководителям телевидения и радио — классика там звучит редко и в неудобное для слушателей время.

— *Сейчас обсуждается проект Уголовного кодекса и возникла полемика в связи со статьей, предусматривающей высшую меру уголовного наказания — смертную казнь. Что вы думаете по этому поводу?*

Д. С. Лихачев. Я не могу не быть против смертной казни, ибо я принадлежу к русской культуре. А в русской культуре смертная казнь всегда вызывала протест не только Толстого, Достоевского, Короленко, но и многих других деятелей культуры. Смертная казнь развращает тех, кто ее осуществляет. Вместо одного

убийцы появляется второй, тот, кто приводит приговор в исполнение. И поэтому, как бы ни росла преступность, все же смертную казнь применять не следует. В России XIX в. смертной казни за уголовное преступление вообще не было, была только за политические преступления. Это была единственная страна в Европе, имеющая такой закон. А теперь требуют смертную казнь именно за уголовное преступление. Мы не можем быть за смертную казнь, если считаем себя людьми, принадлежащими русской культуре.

— *Владыка Питирим, иной раз из уст людей, принадлежащих к объединению «Память», можно слышать, что они-де и являются в миру подлинными защитниками идей православия. При этом они постоянно подчеркивают: православие — сугубо русская религия, тем самым, как представляется, превращая православие в национальную религиозную секту.*

Питирим. Безусловно, эти люди не правы. Когда в послевоенное время определялся новый статус Московского Патриархата, то мы рассуждали, как понимать титул «Патриарх Московский и всея Руси». Или как был у Патриарха Тихона — «Патриарх Московский и всея России»? И мы тогда, согласуясь с логикой, приняли как принцип, что Русь — это понятие не географическое и не этническое, а культурное. Для этого есть очень много оснований. Русская церковь никогда не была узконациональной группой, сектой или религией. Всегда это было широкое понятие.

— *Как известно, лидеры «Памяти» выступают против иудаизма как религии, подчеркивая, что иудаизм — это религия человеконенавистническая. Это звучит как своеобразное религиозное оправдание антисемитизма.*

Питирим. На встрече в Ленинграде я ответил так: все это дурной вкус. Никогда русская церковь не грешила этим понятием, которое я и произносить-то не хочу, потому что для нас всегда был обязателен принцип, провозглашенный апостолом Павлом: в церкви нет ни эллина, ни иудея, но всячески и во всем — Христос. Православная церковь — это церковь многонациональная, многоязычная, многоэтичная — и не только по крови, но и по традициям. И ничто не мешает священнику — армянину, греку, сербу, болгарину, еврею, рус-

скому, украинцу... молиться в православной церкви, если они разделяют догматы православной церкви.

— *И такой «традиционный» вопрос. Есть в «Памяти» люди, которые считают, что межнациональные браки недопустимы, они вредны, ибо наносят ущерб славянскому генофонду.*

Питирим. Право, тут надо генетика пригласить. Но, серьезно говоря, разговоры о чистоте крови несколько расизмом попахивают. А что касается талантливых людей, то они, по-моему, в смешанных браках рождаются ничуть не хуже, нежели в узконациональных.

Д. С. Лихачев. «Память» часто эксплуатирует доверие простых людей, спекулирует на мифах, на узконационалистических идейках и просто на невежестве. Русская культура и русский народ настолько богаты, что нам не следует опираться на выдумки некоторых представителей «Памяти». Зачем нам какие-то грубые подделки, вроде «Велесовой книги»? Разве культура нуждается в такого рода «дополнениях»? Почему возводят нашу письменность к I в. н. э.? Ведь и то, что мы имеем за первые семь веков ее существования от X до XVII в, — грандиозно!

Как видите, и у людей церкви, и у людей «светской» науки сегодня так много общих дел и общих задач, и, пожалуй, главная — экология духа человеческого.

1989 *Диалог вел Виталий Потемкин*

ПОЧЕМУ У НАС ТАКАЯ КУЛЬТУРА?

**Выступление
на I Съезде народных депутатов СССР**

Буду говорить только о состоянии культуры в нашей стране, и главным образом о гуманитарной, человеческой ее части. Я внимательно изучал предвыборные платформы депутатов. Меня поразило, что в подавляющем большинстве из них даже не было слова «культура». На самом Съезде слово «культура» было произнесено только на третий день. И сейчас об этом говорил Михаил Сергеевич Горбачев.

Между тем без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной нравстенности не действуют социальные и экономические законы, не выполняются указы и не может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее.

Низкая культура нашей страны отрицательно сказывается на нашей общественной жизни, государственной работе, на наших межнациональных отношениях, так как национальная вражда одной из причин имеет низкую культуру. Люди высокой культуры не враждебны к чужой национальности, к чужому мнению и не агрессивны. Незнание элементарной, формальной логики, элементов права, отсутствие воспитанного культурой общественного такта отрицательно сказывается даже на работе нашего Съезда. Я думаю, это не надо пояснять.

К сожалению, в отношении культуры действует еще «остаточный» принцип. Об этом свидетельствует даже Академия наук Советского Союза, где гуманитарной культуре отведено последнее место.

О крайне низком состоянии культуры в нашей стране свидетельствует, во-первых, состояние памятников культуры и истории. Это перед глазами у всех, и я не

буду об этом говорить. Во-вторых, это состояние библиотек и архивов. О последних, кстати сказать, говорилось в предпоследнем номере «Советской культуры». Так дело и обстоит как в самых крупных библиотеках, так и в мелких, сельских. В-третьих, состояние музеев, состояние образования, в первую очередь — среднего и начального, когда закладывается культура человека.

Начну с библиотек. Библиотеки важнѐе всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных учреждений, но если библиотеки есть, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещения, оснащены современной техникой, возглавляются не случайными людьми, а профессионалами — культура не погибнет в такой стране. Между тем наши важнейшие библиотеки в Москве, в Ленинграде и в других городах горят, как свечки. В Ленинграде в особенности. Заливаются водой, не имеют современных тушительных средств, не имеют современной аппаратуры, крайне стеснены в помещениях. Приведу только один пример. Библиотека Ленинградского университета еще в 1900 г. ставила вопрос о недостатке помещения, но до сих пор не построено ни одного дополнительного помещения. У нас в стране нет ни одной (ни одной!) библиотеки, полностью оборудованной современной библиотечной техникой. Даже в главной библиотеке страны имени В. И. Ленина, о которой я особенно забочусь, возникают мелкие пожары. Сравните с библиотекой Конгресса в Соединенных Штатах. Что же говорить о сельских библиотеках? Районные библиотеки часто закрываются (это в Москве, например, Некрасовская библиотека), потому что нужны их помещения для других целей. То же самое в Ленинграде.

Библиотечные работники, обращенные непосредственно к читателю, я подчеркиваю, что говорю не об администраторах, а о работниках, обращенных непосредственно к читателю, то есть о тех, кто должен уметь рекомендовать книгу, не имеют времени сами читать и знать книгу, журнал, ибо влачат полунищенское существование. Можете посмотреть газету «Советская культура» от 23 апреля 1989 года, там об этом все правильно. Средняя зарплата библиотекаря — 110 рублей. Это при средней зарплате 220 рублей в 1988 году. Би-

блиотекари сельских районов, которые должны быть главными авторитетами в селе, воспитывать людей, рекомендовать книгу, получают 80 рублей. Между тем Россия в XIX веке — вопреки мифу о ее якобы отсталости — была самой передовой библиотечной державой мира. Это я могу утверждать, но это я не могу сейчас доказать. Напомню, что в 1918—1920 годах на заседаниях Совнаркома вопрос о библиотеках рассматривался тридцать один раз, а если говорить о комиссиях Совнаркома, то больше пятидесяти раз.

Теперь о музеях. Здесь аналогичная картина — допотопная техническая оснащенность. Зарплата работников, обращенных к человеку — не администраторов, а реставраторов, хранителей, экскурсоводов, — недопустимо низка. А они, именно они — настоящие энтузиасты, как и «низшие» библиотечные работники. Особенно неудовлетворительно бедственное положение реставраторов — если они не халтурят. Тогда они зарабатывают очень много, особенно в кооперативах.

Мы обладаем несметными музейными богатствами, несмотря на все распродажи, частично продолжающиеся и сейчас. Но положение памятников культуры низко, и мы вынуждены приглашать реставраторов из Польши, Болгарии и Финляндии, что обходится во много раз дороже. В Русском музее в Ленинграде, который, кстати, значительно больше Третьяковки, нет мастеров-реставраторов, так как на нищенскую зарплату не проживешь. То же у реставраторов Кремля. Вчера в обеденный перерыв я ходил в реставрационные мастерские Кремля, лазил по железной приставной лестнице в чердачное помещение. Интересно, кто из министров культуры ходил в эти мастерские? Я думаю, что и забраться им было трудно. Реставратор первой категории Кремля Московского получает 150 рублей. Что значит первая категория реставратора? Это равно доктору наук. Таковы требования к реставраторам первой категории. В Русском музее в Ленинграде нет учеников реставраторов, потому что в ученики к реставраторам не идут, слишком мала зарплата.

Школы у нас — опять-таки та же картина, и даже хуже. Детей и педагогов надо сейчас просто защищать. Учителя школ не имеют авторитета, не имеют времени пополнять свои знания. Я могу привести примеры, но

не буду. Преподавание душится различными программами, имитирующими командно-административные методы прошлого, регламентирующими указаниями и низкого качества методиками. Преподавание в средней школы — это прежде всего воспитание. Это творчество педагога, а творчество не может быть вне свободы. Оно требует свободы. Поэтому учитель должен вне программы иметь возможность рассказать ученикам о том, что он сам любит и ценит, прививать любовь к литературе, к искусству и так далее.

Отмечу, что сами ученики отмечают в нашей печати эти серьезные недостатки. Учителя в России были всегда властителями дум молодежи. А нынешней учительнице не хватает средств к существованию и к тому, чтобы более или менее прилично одеться.

Вы скажете, откуда взять деньги, чтобы повышать уровень жизни людей, чьи профессии обращены к человеку, именно к человеку, а не к вещам. Я реалист. Рискуя нажить себе врагов среди многих своих товарищей, скажу. Первое. Надо сократить — и очень решительно — чрезвычайно разросшийся и хорошо обеспеченный административный аппарат всех учреждений культуры. Пусть составители методичек сами преподают по своим методикам и выполняют эти указания, пусть они охраняют памятники, пусть они водят экскурсии, то есть пусть работники министерств работают.

Музеям надо дать средства от доходов «Интуриста», которые он получает от наших плохо сохраняемых культурных ценностей. Вчера мне сказали, что «Интурист» готов давать 20 процентов своих доходов на реставрацию памятников. Это великолепная инициатива «Интуриста». Следует ее всячески поддержать и похвалить, чтобы это не осталось только на словах. Необходимо отчислять на культуру больше средств от сокращения военных расходов, о чем говорил Михаил Сергеевич Горбачев, от сокращения материальной помощи другим странам, помощи за счет средств нашего народа, о которой мы мало осведомлены.

Культура не может быть на хозрасчете. Отдача культуры народу, стране — неизмеримо больше, чем от возможных непосредственных доходов библиотек, архивов и музеев, чем от любой области экономики и техники. Это я утверждаю. Но отдача эта дается не сразу.

Низкое состояние культуры и нравственности, рост преступности сделают бесплодными, бесполезными все наши усилия в любой области. Нам не удастся реформировать экономику, науку, общественную жизнь, продвинуть перестройку, если наша культура будет находиться на нынешнем уровне.

Надо существенно улучшить работу Министерства культуры. К нам в Фонд советской культуры постоянно обращаются по вопросам, не разрешенным в министерствах культуры. Министерства культуры должны заботиться и о периферии. Мы очень много вывозим выставок за рубеж. Но мы не вывозим выставок в наши периферийные города. У нас огромнейшие запасники в музеях. Но устройство выставок на основе этих запасников в периферийных городах для поднятия культурной жизни, культурных интересов города очень редко и очень слабо осуществляется.

Надо обратить особенное внимание на периферийные музеи, на периферийные и сельские библиотеки. Надо устраивать на периферии постоянные выставки из наших запасников.

Должна быть долгосрочная программа развития культуры в нашей стране, которой нет или по крайней мере она мне не известна. Только тогда у нас не будет национальных споров, свидетельствующих о низкой культуре, зато будет нормальная экономическая жизнь, понизится преступность. Возрастет, в частности, и порядочность общественных деятелей.

Позвольте мне прочесть выдержку из одного письма, обращенного к нашему комсомолу, который особенно должен заботиться о поднятии культуры. Это письмо выражает мнение миллионов наших матерей и педагогов. Цитирую: «Поскольку комсомол всяческим образом пытается показать свою целесообразность и необходимость своего существования в качестве именно общественной организации, то его аппарату и народным депутатам, выбранным по линии комсомола, следует взять на себя всю полноту ответственности за состояние дел в стране, связанных с нарастанием детской безнадзорности. По моему мнению, эти товарищи не имеют права на спокойствие до тех пор, пока хотя бы один-единственный малолетний наш согражданин или согражданка терпят надругательства

и принуждения со стороны уже подросших, развращенных нашим обществом и теперь развращающих других подростков. Пора многим гражданам, товарищи, оторваться от своих меркантильных забот, от уютных стульев и кресел и в буквальном смысле спуститься в подворотни, подвалы, а может быть, — и еще глубже, для активного участия в их жизни, с целью прекращения повсеместно происходящих там процессов развращения малолеток».

Судьба Отечества в ваших руках, а она в опасности. Спасибо за внимание.

1989

СТРАДАЮЩИЙ БОГ

Диалог

Д. Лихачев. В утешение старым людям и тем, кто потерял близких, надо сказать следующее: когда надеются на встречу после смерти, это не суеверие какое-то, а определенный опыт. Я не принадлежу к верящим в культ предков, но все-таки в этом есть что-то очень серьезное. Научное, непредвзятое изучение религий и представления о Времени в различных религиях чрезвычайно важно. Религии существуют, думаю, миллионы лет. И в том, что касается культа предков и категории Времени, они утверждают примерно одно и то же. Но если сравнить все религии между собой, тем не менее нельзя сказать, что они апеллируют к одним и тем же чувствам. Другими словами, что они одинаковы. Возьмем, допустим, японскую религию синто. Мне она очень нравится отношением к культам природы. Но в христианстве есть то, что отличает его от всех остальных религий: это Человек и его Страдающий Бог. Впрочем, страдающий бог появился еще у древних греков.

Н. Самвелян. Тот же Прометей. Он сознательно страдал за людей. И не только Прометей... Любя людей, Прометей все же принес в мир идею всесилия человека, возможность его победы над судьбой, роком, а далее напрашивается — и над природой, над ее законами. Недаром же ныне забытый русский поэт Борис Карлович Бланк еще на рубеже XVIII и XIX веков грустно-элегично писал:

Божественный огонь, который Прометей
С небес похитил для людей.
Сей разум иногда нас, правда, освещает,
Был разум — это всякий знает.
Но чаще невпопад ведет;
В украденном добре когда ж и прок живет!

Насилие над природой, попытки стать над нею и привели в конце концов к грандиозному кризису, из которого не так-то просто выйти. Только какой именно будет расплата: апокалипсис или же лишь грозный призрак его?.. Случайно ли образ Прометея всегда виделся противоречиво, тревожил воображение многих писателей, того же Андре Жида.

Если же говорить о христианском Страдающем Боге, то он пошел на муки за грехи людей. Бог, сознательно страдающий за грехи человека, — одна из основ христианства.

Д. Л. Страдающий и умирающий Бог как бы оправдывает страдания самого человека. В нравственном отношении это очень важно. Именно поэтому Осип Мандельштам утверждал, что современный человек должен, обязан быть христианином. Почему именно христианином? Потому, считал он, что в современном страдающем обществе только христианство может и утешать, и управлять страданиями человека. Именно управлять, не допускать того, чтобы одно страдание повлекло за собой другое и чтобы этот круг никогда уже нельзя было разорвать. Одно наблюдение: люди, пришедшие к христианству, часто лучше и тоньше его чувствуют, чем люди традиционно христианские. Это объяснимо. Тот, кто пришел к христианству, — пришел сознательно, а не получил его по наследству, так сказать по инерции. Христианство Мандельштама и Пастернака тому примеры. В связи с этим несколько слов о «Докторе Живаго». По моему убеждению, это произведение, пока еще не понятое до конца... И не знаю, в состоянии ли мы вообще его понять. Может быть, это уже удел и привилегия потомков.

Н. С. Если вы сомневаетесь, что нам дано понять роман, значит, и ваше предисловие к первому у нас в стране изданию «Доктора Живаго» — «рабочее», промежуточное, как бы только подход к тому, что еще в будущем может быть сказано?

Д. Л. Я лишь пытался как-то разобраться в романе, объяснить, почему это произведение выдающееся, но

мне было трудно: надо было постоянно помнить о читателе, который, подобно всем нам, к сожалению, плохо подготовлен к восприятию произведений такой силы. Но я бы мечтал написать о «Докторе Живаго» еще одну статью — о его философской и религиозной глубине.

Н. С. Конечно же, «Доктор Живаго» — роман об уничтожении христианской культуры или же о попытке ее уничтожить. Трагедия огромной силы. С Атлантидой было проще — возникла гигантская волна, утопила целую цивилизацию, но быстро и без мучений. А в «Докторе Живаго» присутствует тревога, трудноуловимое предчувствие, что за первой волной беды пойдет и вторая, третья, четвертая... И все это будет связано не только с физическими, но и нравственными мучениями. Почти тысячу лет, а если быть точным — намного больше, эта культура формировалась как уникальная, никаких аналогий не имеющая, возникшая на перекрестье Европы и Азии, Запада и Востока, Севера и Юга, на фундаменте славянских, угро-финских, закавказских, исламских, многих языческих культур под сильнейшим воздействием восточного христианства, наследующего Византию и ее собственную мощную культуру. А еще и античные влияния — через Кавказ, Закавказье, а прежде всего — греческие колонии в Крыму и Северном Причерноморье. Случайно ли Киевская Русь так сразу, как бы внезапно стала «страной городов»? Откуда это умение строить города? Не от древних ли греков пришли знания?.. Юрий Живаго чувствовал, как гибнет то, что создавалось гением и трудами сотен поколений... Это нравственные муки такого же масштаба, как у Гамлета, когда сознание протестует, а сил остановить совершающееся нет... Я хотел бы когда-нибудь увидеть изданных под одним переплетом «Гамлета» и «Доктора Живаго».

Д. Л. Может быть... И такое предложение — вовсе не парадокс. «Гамлет» — тоже нечто невероятное и не утратившее значения по сей день: грандиозная трагедия мыслящего человека, интеллигента в сегодняшнем понимании. У меня есть любимая идея издать в «Лите-

ратурных помятниках» двухтомник «Гамлета» — с английским текстом, с разными переводами — Пастернака, Радловой, Лозинского, с точным научным переводом и с комментарием. Мы должны понять, что Гамлет — не просто колеблющийся человек. Он — человек мыслящий. А не колеблется только полуинтеллигент или немыслящий. Мыслить — значит колебаться, сомневаться, уметь отходить от заученных схем и догм. «Гамлет» нужен нам сегодня, как никогда! Мы не поднимем экономику, не сможем реформировать политическую систему, если не поймем вечную истину: мыслить — значить сомневаться.

Н. С. Что касается принца датского, то с ним вопрос и прост, и сложен. Легче всего Гамлета объявить рефлексирующим субъектом, который своими колебаниями, непрерывными сомнениями массу людей погубил и обездолил, а родину положил к ногам норвежского принца Фортинбраса. Мы знаем, что Гамлета, случалось, именно так и понимали: этаким хлюпиком. Но не надо забывать, что это был человек, находящийся в состоянии постоянного суда над самим собой.

Д. Л. Готов повторить: Гамлет — мыслящий человек и не может вести себя иначе. Не сомневается существо бездуховное...

Н. С. Все так, Дмитрий Сергеевич. А сейчас хотел бы сказать еще вот о чем. О сомнениях и метаниях Гамлета мы узнали из его реплик и монологов, большинство которых могло быть и внутренними. Ну а если эти монологи убрать, предположить, что Гамлет по каким-то причинам не счел бы нужным сообщать нам и публике о своих сомнениях и метаниях, каким бы он тогда предстал перед нами? Наверное, стремительным, бескомпромиссным человеком, уколы шпаги которого точны, словно атака змеи. Гильденстерн, Розенкранц, Полоний, Клавдий, королева, Офелия и Лаэрт сказали бы, что принц беспощаден, ни во что не ставит человеческую жизнь (правда, при этом им следовало бы добавить, что и свою собственную тоже). Тут где-то рядом бродит и снабженное достаточным количеством аргументов обвинение в неуважении к личности, в непони-

мании ее ценности. Между тем Гамлет просто восстал против мира фарисейства и лицемерия. Он безусловный разрушитель этого мира, руководила им Совесть. В куда более сложном положении доктор Юрий Живаго. Он догадывается, а может быть, даже и понимает, что мир, его породивший (кстати, не самый плохой из миров), обречен. Все уйдет, и навсегда. Видоизменится семья, она лишится ореола интимности, во взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между отцами и детьми начнут грубо вмешиваться посторонние силы, и тем самым будет торпедирована сама идея личной жизни: какая такая личная жизнь? Голому на ветру личная жизнь не положена, разве что регламентированная, отпущенная строго по карточкам, с обязательным отчетом за использование талонов перед коллективом. Уже вынашивались, зрели где-то анти-Ромео и анти-Джульетта — хотя бы те же «Сорок первый» Бориса Лавренева и «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, да и пьесы Александра Корнейчука, его статьи и даже личные письма, публицистика позднего Горького, который, в отличие от Юрия Живаго, мучительно пытался приспособиться к новым обстоятельствам... Но можно ли быть свободным посреди несвободы?

Юрий Живаго не играл в эти игры. Он вообще не был активным политиком, чем и интересен. И все же, несмотря на известную внешнюю стандартность, он никак не элементарный обыватель, а явление куда более сложное: это умный наблюдатель, летописец. Перед нами своеобразная летопись — раны и шрамы на сердце и в душе. Пришла эпоха, когда летописцам не давали возможности заниматься летописями: рукописи горели на каждом углу. Уничтожалась коллективная память народа, провозглашался страшный лозунг: «Человек, тебе прошлого не дано, живи надеждами на Завтра, которое начинается Сегодня! Поэтому тебе не дано знать, кто ты и откуда ты». К этому долго шли, но с упрямством, достойным лучшего применения...

Д. Л. Необходима «История совести» — все больше думаю об этом; я имею в виду не историческое исследование, а собрание произведений... Она может дать ответы на многие вопросы и станет, уверен, философским,

этическим, художественным явлением. Мне очень хочется, чтобы туда вошла, к примеру, «Чертова кукла» Лескова. Поразительный документ — как художник может продаться ради успеха, погубить свой талант! Ведь мы это наблюдаем на каждом шагу. Не хочу называть имена художников, но, прочитав «Куклу», они себя узнают. И другие их узнают... И еще я хотел бы увидеть изданную сегодня книгу Энгельгардта — в великолепной художественной форме, со вкусом, великолепным русским языком в ней рассказано о проблемах русского земледелия. Отношение к земле всегда остается главным в жизни.

Н. С. Именно к земле в широком понимании... не к заводам, фабрикам, банкам, средствам транспорта, включая личные автомобили, а именно к земле. Жизнь дает земля. И в землю мы до недавних пор уходили. Теперь стали реальностью космические полеты. С того момента, когда первый землянин будет похоронен на какой-нибудь другой планете, станет реальностью новое понимание «прописки» человека в космосе. Снова вспомнят слова Циолковского о том, что Земля — колыбель человечества, но нельзя всегда жить в колыбели... Почему-то эти слова вызывают какой-то неосознанный протест. Земля все равно останется для человека колыбелью, родиной.

Д. Л. Конечно. Отношение к земле, кроме всего прочего, вопрос нравственности. Если крестьянин, земледелец любит землю, тогда общество здоровое и способно выстоять против любых ветров и бурь. Тот, кто наблюдает, как весной из земли появляются ростки, жизнь появляется, есть и будет носителем нравственного начала в обществе. Совершенно согласен с тем, как вы недавно писали, главная фигура общества — Пахарь. В широком, а не только прикладном смысле слова. Но вернемся к «Гамлету». Да, это, конечно же, трагедия сознания...

Н. С. Вопрос о сознании, о духовном начале сложнее. Мы о нем с вами говорили и не могли понять, как же оно возникает...

Д. Л. И когда? В зародыше ли? Может быть, еще ранее...

Н. С. И куда исчезает?

Д. Л. Да никуда не исчезает. Исчезнуть оно не может: закон сохранения энергии. Одно из предположений — присоединяется к другим сознаниям...

Но мы с вами несколько отвлеклись от темы. Думаю, сегодня главное — забота о сохранении культуры, понимание того, что культура принадлежит всему человечеству. Надо ли говорить, мы сегодня все больше убеждаемся, что мировая культура — единое целое, что культурный процесс вообще неразрывен. Во всех направлениях и во всех смыслах.

Н. С. Вот почему, например, необходимо создание того, что можно было бы условно назвать «Культурной картой мира» или «Культурной картой отдельных стран».

Такие «Культурные карты» важны для всех, а для нас особенно, прежде всего потому, что они позволят представить наконец развитие культуры объемно, целостно, как единый, вместе с тем противоречивый, полный борьбы процесс. Вспомним хотя бы о том, какого рода знаний мы были лишены: все, имевшее отношение к тому, что именовали материалистическим мировоззрением, рассматривалось как единственно значимое, имеющее право на жизнь; все остальное, что принято было именовать идеалистическим мировоззрением, автоматически заносили в разряд заблуждений. Каким же суженным, произвольным был наш взгляд на историю мировой культуры...

Д. Л. Как вы это себе представляете, Николай Григорьевич?

Н. С. Я говорю об этаких своеобразных энциклопедиях. Их надо издавать на всех основных языках. Книги эти должны содержать справочные сведения о культуре, об истории ее в том или ином городе, регионе, стране. Например, во Львове, кроме украинской, польской и русской культур, существовали армянская и не-

мецкая, чешская и еврейская. Кто знает, если бы существовала в 20-х и 30-х годах «Культурная карта страны», в которой названы были бы имена живущих в том или ином городе, республике писателей, художников, композиторов, актеров, Сталину со товарищами было бы труднее заниматься репрессиями в таких диких и разнузданных формах: легко было бы взять в руки «Культурную карту» и посмотреть, выяснить, как опустошают материк культуры.

А сегодня в Румынии, быть может, постеснялись бы сносить венгерские и немецкие деревни: может, подумали бы о том, что скажут люди? Существуй «Культурная карта» — повторяю,— труднее будет взрывать храмы, торговать эрмитажными собраниями, угнетать деятелей культуры. Охочие до таких действий люди время от времени находятся. «Культурную карту мира» можно было бы изучать в университетах, школах...

Д. Л. «Культурная карта» — это хорошо и это нужно. И еще об одном... Человечеству мы желаем бессмертия. Оно невозможно без внутренней честности, без умения видеть удобное и неудобное, радующее и печалящее, без желания отыскать ту истину, которая рождается только в сопоставлении различных мнений и точек зрения. Возвращаюсь к мысли о создании «Истории совести» — истории человеческих заблуждений, истории героических признаний своих ошибок. Начинать ее следовало бы, возможно, с письма Владимира Мономаха к Олегу Гориславичу, а может быть, и с еще более ранних событий. Мудрость — это еще и принципиальность в сочетании с терпимостью и верой в разум, с умением признать собственные заблуждения. А разум — коллективное достояние человечества. Ни у кого нет монополии на него. Никто не вправе считать свое мнение истиной непогрешимой, а самого себя ее носителем.

Н. С. Дмитрий Сергеевич, и, может быть, назвать все это «Историей совести, историей заблуждений»?

Д. Л. Пожалуй. И начинать ее надо тогда чуть ли не с Платона.

Н. С. Действительно, в «Диалогах» Платона с Сократом очень наглядно само мышление, его ход, умение самого себя поймать на том, что загнал себя в тупик, найти силы отказаться от заблуждения... Это как бы множество микропокаяний и микрораскаяний, которые звучат нечетко, глухо, но все же постоянно присутствуют. Очень жаль, что «Диалоги» издавались у нас так редко. Можно даже сказать: недопустимо редко. Грамотное общество не имеет права разрешать себе такое. В «Истории совести, истории заблуждений» платоновские «Диалоги», конечно же, обязательны.

Д. Л. Я хотел бы сказать о том, что обычно серии книг мы издаем по определенному трафарету: серии путешествий, серии исторических, приключенческих романов, серии воспоминаний, мемуаров.

Н. С. По жанрам, как организован Союз писателей.

Д. Л. Да, по жанрам. Так проще.

Н. С. Но это не организует мысль.

Д. Л. Серия «Совесть» должна быть издана и стоять на книжных полках в доме каждого мыслящего человека. Евангелие, «Поучения» Владимира Мономаха, «Измарагд»...

Н. С. Странное дело, «Измарагд» не упомянут ни в первом, ни во втором издании «Литературной энциклопедии». Этакая фигура стыдливого умолчания. Между тем «Измарагд» был, насколько я понимаю, своеобразным подходом к «Домострою». Эти статьи-поучения не просто были переведены с греческого, а как бы переработаны с учетом местных условий.

Д. Л. Нет сомнения, «Измарагд» — веха в нашей культуре. А следовательно, одна из вех в мировой культуре. И удивительно, что у нас почти нет современных работ, посвященных ему, если не считать вышедшего еще в 1974 г. исследования Адриановой-Перетц «К вопросу о круге чтения древнерусских писателей».

Н. С. Лет за сто до наших дней в Одессе был издан «К литературной истории древнерусских сборников. Опыт исследования «Измарагда». А в 1911—1912 гг. старообрядцы в своей типографии издали «Измарагд». Вот, пожалуй, и все, что мы можем знать об «Измарагде».

Д. Л. То, что «Измарагд» практически недоступен нашим читателям, необъяснимо. Это большая книга. Замечательная книга. Без нее нельзя понять развития нашей культуры, основ нравственных начал народа, наших идеалов. Ведь это удивительно: некоторые русские люди, которые сейчас берутся защищать русскую культуру, совершенно не знают «Измарагда», а о «Домострое» знают только по Добролюбову, который объявил «Домострой» символом всяческого ретроградства. На самом деле «Домострой» был очень прогрессивным. Он тоже стал ступенью, этапом в развитии нашей культуры, в том числе — или прежде всего — культуры быта, общежития, поведения, этики. В тех условиях он убеждал, что нельзя бить беременную жену, нельзя бить по определенным местам человеческого тела. Если нерадивых слуг наказываешь, то позднее надо обязательно сделать так, чтобы человек не испытывал униженности, ущемления собственного достоинства. Этому не грех бы учить и сегодняшних администраторов. Сегодня, если человека наказали на службе, он сразу же становится отверженным, с ним почти что перестают здороваться. А это порождает озлобление, чувства разрушительные... Нет, «Домострой» явно недоучитывают.

Н. С. Дмитрий Сергеевич, заочно мы с вами были знакомы давно, а впервые увидели друг друга лет десять-двенадцать назад, на вечере в московском Доме архитектора. Был вечер без четкой программы, но все говорили о традициях в культуре, о том, что мы относимся к ним слишком легкомысленно, плохо знаем безусловные достижения наших предшественников. Ваше выступление было посвящено «Домострою».

Д. Л. Помню тот вечер. Я выступал там, ожидая, что такая оценка «Домостроя», по крайней мере у части

зала, вызовет недоумение. Ведь есть заблуждения, с которыми надо бороться терпеливо и настойчиво... Некоторые идеи «Измарагда», конечно же, позднее прозвучали и в «Домострое».

Что же касается «Истории совести», в ней должны быть «Исповеди» Руссо и Льва Толстого. Правда, к «Исповеди» Руссо могут быть большие претензии.

Н. С. Как ни грустно, в «Исповеди» Руссо есть позерство. И вообще это не совсем исповедь, а художественное произведение под названием «Исповедь». Автор умело рисует себя, бравирует собственной отчаянной открытостью, но открывает он лишь то, что хочет, что ему удобно.

Д. Л. Это произведение не очень высокого класса в нравственном отношении.

Н. С. Руссо не верил ни людям, ни себе.

Д. Л. Вот именно: не верил себе и не верил в себя. Он сознательно преувеличивал свои недостатки и из-за этого стал слегка противным. От Руссо, это мое твердое мнение, и его «Исповеди» пошло много плохого.

Н. С. Научил грамотно обосновывать безнравственность?

Д. Л. Что-то в этом роде. Думаю, найдутся люди, которые иначе воспринимают «Исповедь» Руссо. Это их право.

Н. С. Не слишком ли мы строги к Руссо? Что касается «Исповеди», то в ней, думается, есть определенная поэтизация и эстетизация безнравственности, которая выглядит как объяснение необходимости гибкости мышления. А это привело к такой же, не всегда объяснимой и оправданной, подвижности нравственных норм — а они тем и хороши, что «упрямы», как бы всегда охлаждают горячие головы и охотников ежедневно пересматривать основы нравственности по своему собственному усмотрению: есть там и попытка считать инстинкты элементами сознания и даже объявить ин-

стинкты чуть ли не фундаментом структуры личности. Напомним, что другими философами не менее аргументированно доказано: сознание всегда воевало с голыми инстинктами. Кстати, Блаженный Августин в своей «Исповеди» столь же отчаен, как и Руссо; Августин, может быть, одним из первых решился проследить с достаточной откровенностью путь внутреннего становления личности — со всеми испытаниями, искушениями, заблуждениями и соблазнами, с заглядыванием в глубины, в «бездны» души. Но у Блаженного Августина личная философская и этическая позиция последовательнее, чем у Руссо. Он был упрям в своем неприятии ортодоксальной схоластики Фомы Аквинского, не признавал правомочности действий Алариха, который взял штурмом святой город Рим. Августин отвергал всяческое насилие, в том числе и насилие государственное, считал это признаком греховной испорченности человека... У Августина очень четкие позиции в его лирической «Исповеди»...

Д. Л. Посчитают, что мы говорим что-то «не так»? Пусть считают, как хотят... Есть уже огромная усталость от слишком причесанных мыслей. Давайте лучше подумаем, что бы еще можно было включить в серию «Совесть». Ну, конечно, «Гамлета», о чем уже говорили, и «Доктора Живаго». И отдельно, и единой книгой. Романом Пастернака можно было бы завершить серию. Вновь вспомнил роман: какое там описание весны! Кстати, автору было знакомо удивление перед чудом рождения новой жизни — из земли вдруг появляется росток... Когда денег не было, Пастернак завел огород, чтобы не умереть с голоду. Но это так — отступление от темы... Думайте, думайте, что бы еще можно было включить в серию, обязательную для каждого мыслящего человека... Ну, например, «Исповедь» Августина, которую мы уже упоминали. Надо что-то чеховское, «Архиерея», может быть?

Н. С. «Степь»?

Д. Л. Да, конечно, «Степь». Обязательно надо. И еще — «Обломова». Этот роман, так же как «Га-

млет», «Доктор Живаго», каждое поколение будет понимать по-своему. И еще, конечно, Пушкина. Его лирику, пропущенную через воспоминания — детства, юношества, молодости, полную самооценки...

Н. С. И еще — обязательно Гоголя...

Д. Л. Вот мы и наметили черновой план «Истории совести». Теперь его можно расширять, уточнять. Впрочем, это даже не черновой список, а, думаю, лишь намек на идею. В каждой национальной культуре «История совести» будет своя. Как нет людей, которые во всем были бы прекрасны, так нет и народов, которые никогда, ни разу за свою историю не впадали бы в коллективные заблуждения, не творили бы того, в чем позднее пришлось бы раскаиваться. И поэтому «История совести, история заблуждений» должна быть живой, постоянно пополняющейся серией.

Н. С. А что если попытаться предложить «Историю совести» в качестве обязательного предмета в учебных заведениях мира? И тут я не могу уйти от мыслей о так называемом «феномене Сталина». Тема надоела. Но ни нам, ни нашим потомкам от нее не уйти. Кроме того, все, или почти все, диктаторы в той или иной степени стремятся надеть на себя маску «Страдающего Бога»; подчеркнутый аскетизм, который чаще всего — умелое театральное действо; как правило, отсутствие полноценной семьи, нелюбовь ко всем видам эстетических поисков в литературе и искусстве, тяга лишь к тому, что стало общеизвестным и общепризнанным, этакая тяга к «классике», в чем нет ничего плохого или предосудительного, если при этом нет атак на «модернизм» во всех его видах. Это — инстинктивная атака на все виды независимого эстетического, художественного и философского мышления.

Д. Л. Вы видите эту тему, Николай Григорьевич, в контексте «Истории совести»?

Н. С. Да, Дмитрий Сергеевич... Уже есть люди, которые раскаиваются в содеянном. Например, проживающий в Киеве человек, бывший в 1937 г. палачом. Что же ка-

сается «феномена Сталина», то это все же, как мне кажется, явление скорее религиозного толка, мистического, своего рода массовый психоз. Огромное множество людей испугалось пути в неведомое. И был истребован из арсеналов всех возможных вариантов коллективного сознания самый мрачный вариант религиозного культа. Многим, очень многим «феномен Сталина» нужен был для обоснования своих собственных поступков, уверенности в том, что таланты «назначаемы», что нет в мире ничего объективно существующего. Не так давно я листал журнал «Рабочий и театр», орган Ленискусства и Облпрофсовета. В нем в № 32—33, вышедшем в свет 7 декабря 1931 года, на страницах 10—11 композиторы Янковский, Гладковский, Цурмилен, Аренков, Пейсин объяснили Дмитрию Шостаковичу, что он, выступая против «обезлички композиторов», наносит удар по коллективизму, а сам является индивидуалистом, поскольку выпячивание своих эстетических концепций, постоянное отстаивание их — явление недопустимое и контрреволюционное. Вот цитаты: «...вы подменили красноармейскую пляску кулацкой пляской...», «После выхолощенного формалистского «Носа» вы шли на трамовскую работу...», «...в так называемой «попутнической» среде композиторов, вы, как и другие, одиночка», «...вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, вы отступаете на старые позиции “высокого искусства”» и так далее. Откуда этот делириум, этот горячечный бред?

Д. Л. Бездарности решили, что настала их пора расправиться с талантами. Это был их звездный час.

Н. С. Да, им был неудобен Страдающий Бог — призыв к Покаянию, призыв спасать себя, свое сознание от попыток ломать нормальное и естественное течение жизни, насиловать природу человека. Страдающий Бог — это еще и философская позиция: каждый должен помнить, что за него страдают, что приняли мучения за его грехи. А безгрешных не бывает. Тот, кто безапелляционно объявляет себя безгрешным, попросту опасен для общества. Если не завтра, то послезавтра он может стать деспотом и диктатором, поведет к пропасти. Навязанная силой формула счастья — по

сути, одна из самых горьких форм несчастья. Между тем понимание идеи Страдающего за тебя Бога делает человека терпимее к другим и требовательнее к себе. Вероятно, Страдающий Бог — нравственный и философский эпиграф к «Истории совести». А составить хотя бы вчерне программу издания у нас можно, по всей вероятности, лишь после широкого обсуждения ее, в котором примут участие и педагоги, и писатели, и философы — все, кому близка сама идея.

Д. Л. Наверное, правильнее всего не оттягивать дело, а начать его. Дополнения и поправки можно делать в рабочем порядке. Надо учиться еще одному — умению действовать, не откладывая все на «завтра», «послезавтра» и вообще на далекое будущее. При параличе воли к действию этого будущего может и не быть.

Н. С. Конечно, Дмитрий Сергеевич. И может быть, сейчас время назвать и те условные заповеди человечности, которые вы начали обдумывать однажды в Болгарии, а потом мы их с вами уточняли в «Узком». Была зима...

Д. Л. Да, девять заповедей человечности... Не убий и не начинай войны; не помысли народ свой врагом других народов; не укради и не присваивай труда брата своего; ищи в науке только истину и не пользуйся ею во зло или ради корысти; уважай мысли и чувства братьев своих; чти родителей и прародителей своих и все сотворимое ими сохраняй и почитай; чти природу как матерь свою и помощницу; пусть труд и мысли твои будут трудом и мыслями свободного творца, а не раба; пусть живет все живое, мыслится мыслимое; пусть свободным будет все, ибо все рождается свободным...

Под ними расписываюсь и ставлю число — 23.11.89.

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ?

Народный депутат СССР академик Д. С. Лихачев неоднократно высказывал мысль об учреждении общества «Классика», но — странное дело — она не находила горячей поддержки, так и не была реализована. В чем дело? Неужто мысль эта несвоевременная? С этим и другими вопросами я и направился к Дмитрию Сергеевичу.

— Нет, нет, я по-прежнему убежден, что мысль об учреждении общества «Классика» незряшная. Иногда люди высказывают как бы «несвоевременные» мысли и могут даже прослыть в лучшем случае чудаками, а иной раз, как это было в революционные годы с М. Горьким, написавшим свои «Несвоевременные мысли» (только сейчас переизданы),— чужаками. В роли чужака я побывал достаточно — и в годы сталинщины, и в годы брежневского застоя. Еще десять лет назад мысль об организации Советского фонда культуры властителям страны казалась не только несвоевременной, но и чуждой, чуть ли не опасной. Сегодня возникло много новых обществ. Но потребность в обществе «Классика» — потребность настоятельная. Нужен мозговой инициативный центр, нужна разветвленная сеть своеобразных творческих, если хотите, элитарных, да, элитарных клубов, где бы энтузиасты занимались пропагандой классических знаний, классического искусства. Это вовсе не значит, что вступление в общество должно быть ограничено цензами — возрастным, образовательным, социальным. И академик, и студент, и ученик, и художник, и рабочий — все, кто заинтересован в развитии классических традиций, могут состоять в обществе.

— *Но как, Дмитрий Сергеевич, соединить интересы столь разных людей?*

— Повторяю, всех их объединит общая цель — возрождение классических традиций. А сфера приложения творческих сил может и должна быть самой различной. Допустим, у студентов, учащихся, рабочих — познавательные задачи, у людей науки, искусства — просветительские, возрожденческие. Деятели науки и культуры могут объединяться в свои ассоциации, иметь клубы, лектории, концертные площадки, теле- и радиопередачи... Естественно, их роль в обществе можно определить как ведущую. Это соответствует месту интеллигенции, которое она должна по праву занимать. Испокон веков на Руси интеллигенция была эталоном нравственности, духовности, культуры. Это уже в двадцатые годы, в годы «диктатуры пролетариата», роль и значение интеллигенции всячески принижались. В лучшем случае ее представители могли считаться попутчиками, в худшем — врагами. Миллионы истинных интеллигентов, истинных патриотов своей Родины были изгнаны из России, репрессированы, уничтожены, унижены... Мы до конца еще не оценили катастрофических последствий этого процесса. Год от года в стране падал уровень культуры. Самые маленькие ставки — у работников культуры. На второй сессии Верховного Совета СССР справедливо критиковался «остаточный» принцип финансирования учреждений культуры. Надо, однако, понять, что этот принцип появился вовсе не оттого, что в стране мало денег, хотя это и так, нет, он — следствие «остаточного» принципа отношения к культуре, интеллигенции. На самом деле культура дает колоссальный воспитательный и даже экономический эффект, но он ощущается не сразу. Ввиду малой культуры растут в стране преступность, алкоголизм. Мы даже науку не можем развивать без культуры. Культура и нравственность — вещи неразрывные в первостепенной важности. Если ученый будет человеком безнравственным, так он и опыты может подделать. Малокультурному, безнравственному врачу безразличен больной. Бескультурный строитель плохо строит. Некультурный земледелец будет травить землю нитратами и пестицидами.

Руководитель города, обладающий внутренней куль-

турой, не допустит разорения города, не допустит сноса исторических зданий, как это произошло с гостиницей «Англетер» в Ленинграде. Без культуры, без ее основы — классического наследия — страна не может плодотворно развиваться. Вот, скажем, забастовки, с которыми мы сейчас столкнулись вплотную. Они ведь тоже зависят от культуры человека, культуры рабочего класса. Как проходили забастовки в старину? Российские рабочие предупреждали хозяина о забастовках так: надевали фуражки козырьками назад, это означало, что они недовольны. И если хозяин не интересовался, почему и что они требуют, отказывался выполнить условия, то они через неделю начинали забастовку, однако предупреждали о времени и сроках забастовки. При этом рабочие не портили оборудование, и там, где производство не могло быть остановлено без порчи оборудования, продолжали работу. Например, не останавливали мартеновские печи. У рабочего класса даже в классовой борьбе были своя этика, свои незыблемые нравственные принципы. Была гордость за профессию, уважение к труду. С детства я жил в квартире при типографии «Печатный Двор» и в цехи ходил как домой, и я видел, как трудились наборщики. Если кто-нибудь из работников уходил и не выключал верстатку, то они клали в верстатку нерадивого мусор либо набирали бранные слова. Это означало, что его поступок шел вразрез с рабочей этикой. Чтобы изменить создавшуюся десятилетиями ситуацию с культурой, поднять ее уровень — надо в корне изменить воспитание и образование человека. Надо вернуться к незыблемым, проверенным на опыте многих поколений России и других стран традициям классического образования.

— *Недавно я прочитал, что ученые, исследовавшие многие системы воспитания и образования, сочли, что самая эффективная существовала в Царскосельском лицее.*

— Недаром сейчас всерьез заинтересовались идеей лицейского образования, которое действительно обеспечивает гармоническое развитие личности. В Москве, Ленинграде, других крупных городах открылись первые лицеи. Современная политехническая школа с ее программами, где гуманитарным предметам отведен жалкий минимум, не в состоянии воспитать талантливого,

гуманистически мыслящего человека. Еще хуже положение в технических вузах, там нет ни одного истинно гуманитарного предмета, если не считать истории КПСС и кратких курсов философии, признанных сейчас крайне несовершенными. Недаром ввиду лживости учебников по истории КПСС отменены экзамены по этому предмету. Огромные учебные классы, потоки студентов, засилье догматических методичек для педагогов — все это не способствует воспитанию личности, мешает педагогу как творцу и мастеру воспитания. А вот хорошие условия для обезличивания человека создает. Когда я учился в школе, в классе было всего 20 человек, и мы все дружили, постоянно общались. И учителя нам говорили: «Вырабатывайте свое мировоззрение». Помню разговор с учителем, я ему рассказывал о системе своих взглядов, которых, кстати, придерживаюсь до сих пор, и он посоветовал обязательно назвать, так сказать, сформулировать свои мировоззренческие взгляды, что я и сделал. Непосредственным первотолчком для формирования этих мыслей стала книга Н. О. Лосского «Мир как органическое целое» — замечательная философская книга для экологов. Как, однако, нужно эту книгу переиздать! Ведь современная экология не имеет своей определившейся философии, своей нравственной основы, она лишена традиционной культуры.

— *И, быть может, потому она и не имеет стратегии?*

— И стратегии, и идеологии. Если у официальной экологии есть стратегия и идеология, то она не носит нравственного, гуманистического характера. Ведь сейчас настойчиво говорится об экологии культуры, экологии души человеческой. Все взаимосвязано, все во взаимодействии. Убежден, что и школьник, и студент должны вырабатывать свои самостоятельные взгляды, которые являлись бы своеобразным нравственным иммунитетом против вульгарных социальных, философских, политических концепций. Во многих западных странах, где существуют классические традиции воспитания и образования, поощряется не стереотипное мнение, не изначально «правильный» ответ, но именно самостоятельность мышления. Как проводятся экзамены в английских университетах? Студенту задают, к при-

меру, вопрос: «Слово о полку Игореве» — подлинный памятник древнерусской культуры или поддельный?» У нас бы поставили «отлично», если бы студент отвечал правильно. А там требуется развернутая система доказательств. И если студент придумает такую систему и возьмет под сомнение идею о подлинности «Слова», то он получит «отлично», даже если его взгляды противоречат взглядам педагога, а если же механически повторит: «Подлинник», то на высший балл рассчитывать не сможет. Важно знание не само по себе, важны именно самостоятельность мышления, инициатива, логика, умение отстаивать свои научные убеждения.

— А наших студентов воспитывают на системе правильных ответов. До недавнего времени в Лениздате выходили сборники «Вопрос — ответ» — наглядное подтверждение мысли о воспитании стереотипов.

— Вообще общественно-политические дисциплины в вузах, в том числе и технических, занимают чрезвычайно много времени, и, главное, так мало от них толку. Они у студентов вызывают только обратную ожидаемому результату реакцию. В вузах обязательно нужно преподавать эстетику, включив в ее программу и литературу, и искусство. Именно эти предметы способны по-настоящему сформировать мировоззрение и нравственность. И, конечно, в программе должны быть классическая философия, логика. Нам нужно воспитать диалектически мыслящего человека, человека, наделенного собственными взглядами на мир, на действительность. Сейчас происходит возрождение старых авторитетов, возвращаются имена людей, пострадавших в годы культа. Однако надо осторожно подходить к научной, так сказать, реабилитации некоторых имен. Ну, скажем, Н. Бухарин. Он действительно безвинно погиб, он действительно видный теоретик партии, он действительно яркая фигура тех лет. Все это так. Но ведь надо же одновременно говорить и о примитивизме некоторых его взглядов. Перестройка — это не противоположная смена оценок, это вдумчивый анализ явлений и фактов. Размышляя об обществе «Классика», я не могу не думать о кардинальной реформе школьного и вузовского образования. Споры о реформе поутихли, и боюсь, что полезного сделано очень мало. Я убежден, что образование — это вспомогательная

функция воспитания. Но чтобы воспитать личность, надо педагога освободить от пут никому не нужных методичек, сковывающих его инициативу, свободу творчества. Ведь учитель — профессия тонкая. Я бы сравнил ее с профессией художника или садовода. Учитель-словесник должен прежде всего привить любовь к чтению классики, вечным духовным ценностям. Не знания нужны, когда, например, Достоевский родился (я и сам иной раз путаюсь), а любовь к творчеству великого писателя, способность анализировать художественное произведение, делать самостоятельные выводы и оценки. Почему сегодня классику так мало читают? Да потому, что не понимают ее глубин, да потому, что преподносят готовые выводы, которые обязаны выучить и следовать им всю жизнь. Литература, пожалуй, самый важный предмет для становления личности. Литература дает возможность человеку как бы прожить жизнь за героев произведения. Нет, я не о вульгарном подражании герою, мол, прочитает молодой человек роман и непременно станет лучше. Чтение классики — это огромный духовный процесс. Примитивное, развлекательное чтение, например детективов, не может по-настоящему воспитать человека. Как не способна на это и развлекательная музыка, например рок. Нет, нет, я ни в коем случае не призываю к каким-то запретам. Я говорю о приоритете духовных ценностей, которые сейчас, на мой взгляд, искажены.

— *Вы, Дмитрий Сергеевич, считаете, что классику надо защищать?*

— Да, в какой-то степени она требует защиты. Защиты от вульгарного преподавания, скучного популяризаторства, засилья массовой культуры...

— *Сейчас на авансцену общественного внимания вышли эстетические явления, ранее официально запрещенные,—рок-музыка, абстракционизм, сюрреализм, абсурдное искусство... Иные молодые люди провозглашают манифесты, в которых отказываются от высоких традиций мировой культуры. Я называю их современными рапповцами. Что это, некая болезнь эстетической левизны?*

— Опасная, весьма опасная ситуация. Я глубоко убежден, что мерилом духовных ценностей сейчас должна быть классика. Конечно, она не панацея от всех

бед, но все же, но все же... Достоевский был во многом прав, утверждая, что мир спасет красота. Не сама по себе красота, конечно, но человек, воспринявший прекрасное как истинное мерило жизни.

— *Полагаю, сегодня самое современное произведение Достоевского — роман «Бесы». Такая бесовщина творится...*

— Кроме «Бесов», есть еще архисовременный роман Ф. Сологуба «Мелкий бес». Иной раз классика о современном мире может рассказать гораздо больше, чем иные страстные публицистические речи наших современников. Классическая литература, классическая музыка, театр, живопись — они представляют собой такую невероятную ценность — и не только эстетического порядка,— что даже трудно себе вообразить. Ну вы представляете космическую ценность собраний Эрмитажа? Такой же космической ценностью обладают и классическая музыка и литература. Задача общества «Классика», его научных и творческих ассоциаций в том и должна заключаться, чтобы на полках не залеживалась классическая литература, чтобы концерты классической музыки посещались, чтобы шедевры музеев, в том числе и запасников, были доступны. Здесь телевидение и радио должны помочь. Во многих странах есть видео- и радиоканалы классики. Когда же мы получим это? Так редко и так неумело популяризируются художественное народное творчество, фольклор. Актеры очень плохо знают русский фольклор. Никто из чтецов не удосужился прочесть, скажем, «Былину о скоморохе Вавиле» или что-нибудь еще. Это же наша бесценная классика!

— *Признаюсь, я испытываю недостаток классических знаний, особенно исторических, философских. Один из самых любимых моих писателей — Т. Манн, зачитываюсь им. Однако не могу постичь всей философской глубины тетралогии «Иосиф и его братья». Мы, «вооруженные» атеистическими знаниями, мифы и легенды Древней Греции знаем намного лучше, нежели Библию и библейские сюжеты.*

— Это следствие бездумной официальной атеистической пропаганды. Она обернулась утратой ценнейших для становления личности знаний истории, культуры, утратой классических традиций, необходимых для

воспитания по-настоящему культурной личности, подлинного интеллигента. Без знания Библии, библейских сюжетов классическая западноевропейская и русская живопись просто недоступна человеку. Он не в состоянии ее «расшифровать», понять ее глубинный смысл, ее философию. Преподавание Библии нужно, конечно, не для того, чтобы воспитывать в человеке веру, хотя и вера — это неплохо, но для того, чтобы дать ему зачатки классических знаний. В Эрмитаже, слышал, спрашивали: «Почему Богоматерь всегда держит на руках мальчика и никогда девочку?» Наивный вопрос? Увы, он показывает, насколько вопиюще безграмотны бывают люди. Я видел, как русская крестьянка водила детей по выставке картин Дрезденской галереи (это было в 50-х годах в Москве) и как они воспринимали шедевры живописи. Воспринимать — это понимать и принимать. Путь к эстетическому наслаждению, духовному переживанию, самоочищению личности лежит через знание истории, знание традиций наций и народностей. Без этого человек просто обречен быть манкуртом, обречен быть Иваном, не помнящим своего родства, не понимающим и потому не принимающим духовные основы других наций. Не исключено, что проблема «инородцев» не была бы столь драматично острой, если бы люди были культурно воспитаны. Культурно воспитанный человек терпелив к иной нации, иной религии, идеологии, культуре.

— *Нас воспитывали не классически, но классово?*

— Естественно, идее «классового» воспитания соответствовала аналогичная идея «классового» образования. Высшей идеологической, духовной, художественной ценностью назывались произведения, которые такими на самом деле не являлись. Например, роман «Мать» М. Горького — это одно из слабых произведений писателя, однако в школе его изучают как недосягаемый образец литературы «социалистического реализма», образец советской классики. Я преисполнен глубокого уважения к личности мужественного человека — Николая Островского, но его произведения нельзя назвать высокохудожественными. В школьных и вузовских программах наблюдается значительный крен в сторону изучения истории страны советского периода, КПСС, советской литературы. Должна быть пере-

смотрена шкала ценностей, особенно по отношению к советской литературе. Сейчас уже ясно, что те кумиры, которым поклонялись официальные лица, не представляют такой ценности. Конечно, в школьную программу литературы было бы прекрасно ввести имена Платонова, Булгакова. «Мастер и Маргарита» — вот подлинная советская классика. В романе Булгакова масса философских и нравственных проблем, удивительных художественных образов. И это тоже интересно ребятам, они сами это читают, об этом спорят. Составляя новые учебники по литературе, было бы правильно провести социологические иследования: что действительно читают ребята, что их волнует, а что они внутренне отрицают.

— *Не получится ли так, что В. Высоцкий им будет ближе и понятней, нежели А. Пушкин, а интерес к рок-группе «Аквариум» затмит интерес к музыке Баха или Чайковского?*

— Я имею в виду прежде всего произведения классические. И беда не в том, что для них сегодня Высоцкий может быть ближе и понятнее, нежели гениальный и вечный Пушкин. Беда будет в том, если человека эстетически не развивать.

Часто обсуждается вопрос: какой должна быть интеллигенция, каково ее место в обществе? Сравним интеллигенцию с мощным локомотивом. Где он может стоять? И впереди состава, и позади него, в последнем случае он будет толкачом. Настоящее место интеллигенции впереди общества, в этом ее историческое предназначение. Стало быть, она не просто «прослойка» между классами, а ей судьбой обеспечена ведущая роль в обществе.

— *Однако, Дмитрий Сергеевич, может ли сегодня интеллигенция быть этим мощным духовным локомотивом, ведущим за собой общество? Ведь традиции русской интеллигенции так подорваны, так обветшали и принижены, что — не без основания — дискутируется вопрос: не потеряло ли слово «интеллигенция» присущее ему в русском, и только в русском языке значение и не приобрело ли оно иной, «иностранный» смысл — просто человек умственного труда? Мне кажется, возрождая сегодня отечественные классические традиции воспитания и образования, нам не грех обратиться и к опыту*

других стран, к концепциям космополитизма, предложенным, в частности, академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым.

— Слово «космополитизм» вызывает у людей малосведущих негативное отношение, тем более многие с болью вспоминают сталинскую «охоту» на «космополитов» конца 40-х — начала 50-х годов. Мысль верна, однако выберем другой термин, который ближе и понятнее, к примеру «универсальный», «всемирный» масштаб мышления человека и общества. Культура — она ведь всемирная, не закрытая, а именно открытая эстетическая система. Сколько десятилетий нашу культуру, нашу науку старались отгородить от всего мира «железным занавесом», ничего не вышло. Она пережила странные, уродующие ее, деформирующие процессы, но выстояла. От народа скрывали истинные шедевры литературы и искусства — Булгакова, Платонова, Набокова, Пильняка, Ахматову, Кандинского, Шагала, Малевича... Но не скрыть их в мире современных коммуникаций. Произведения этих авторов становились достоянием зарубежья и оттуда, признанные и прославленные, возвращались на Родину. Наша литература, наше искусство обогатили мировую культуру и теперь заняли свое место в отечественной культуре, стали катализатором общественной и духовной жизни. Так и литература, искусство зарубежных стран воздействуют на нашу культуру, обогащая нас духовно, эстетически. Важно, чтобы этот процесс шел беспрерывно. Трудно даже вычислить, как культуры взаимодействуют. К примеру, творчество Пушкина зависит и от античной культуры, и от творчества английского романтика Байрона, и от французской литературы, и от арабской литературы, и от многих других культур. И в то же время Пушкин — самый русский, самый национальный поэт. Но мог ли он обрести свое, неповторимое лицо, не овладей он иными культурами? На примере творчества великого русского поэта мы видим, как «космополитические», «всепланетарные» идеи не мешают, а, наоборот, помогают художнику приобрести свое отчетливо выраженное национальное лицо.

Одна из задач общества «Классика», его ассоциаций — пропагандировать это планетарное мышление, идеи открытости и дружелюбия самых различных на-

циональных культур. Ибо только подлинный интернационализм ведет к национальной самобытности. Некоторым «лидерам» общества «Память» и иных похожих на него объединений пора серьезно поразмыслить о феномене взаимовлияния национальных культур. Нам нечего бояться «космополитизма», всемирного взгляда на природу и человека, искусство и культуру.

Вероятно, общество «Классика» должно начинаться с некоей общественной Академии искусств, в которой могут собираться ученые самых различных специальностей — и точных, и гуманитарных наук,— чтобы обмениваться идеями, наблюдениями, открытиями. Конечно, эти встречи не будут понятны широким слоям слушателей, зато они будут полезны, так сказать, узким специалистам, могут стать своеобразным катализатором новых идей, в конце концов сблизят людей, что чрезвычайно важно. В Ленинграде немало мест, где могут собираться ученые и люди искусства, но ведь никто не собирает, не объединяет. Есть у нас и свой Научный центр Академии наук СССР, но это какая-то мифическая организация. Ее задача чуть ли не ограничивается сбором лишних экземпляров научных отчетов. И мне приходится перепечатывать свой научный отчет лишний раз — для этой промежуточной, ничего не значащей инстанции.

— *В довоенное время в Ленинграде существовала Российская академия искусствознания, давшая многих замечательных ученых классической школы. Сейчас в этом особняке на Исаакиевской площади располагается Научный отдел Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, имеющий третью категорию. Еще в «застойные» годы было принято решение правительства РСФСР о преобразовании этого научного искусствоведческого центра, повышении его категории, но... перестройка помешала выполнить справедливое решение «застойных» лет.*

— Таких вопросов, увы, много. Ленинграду, признанному во всем мире научному центру, надо еще мечтать, чтобы его хотя бы приравняли к Новосибирску. Это было бы справедливое во всех смыслах решение. Именно в Ленинграде, несмотря ни на что, живы еще классические традиции русской науки, русской культуры.

— *В печати сейчас дискутируется вопрос об открытии Российской академии наук. А ваша точка зрения?*

— Конечно, в перспективе нам нужна Российская академия наук. Но прежде всего нужна именно Российская академия гуманитарных наук. Гуманитарная сфера обладает единством интересов, требует непрестанного осмысления духовной истории российских народов, их политики и культуры. Математика, физика, химия и другие точные науки — они более универсальны, ученые могут принадлежать в равной степени к любой Академии наук — или СССР, или любой союзной республики. В Академии наук СССР до обидного мало академиков и членов-корреспондентов из гуманитарных сфер знаний, а достойные кандидатуры есть. Поэтому я предлагаю избрать на новой сессии АН СССР несколько ученых членами-корреспондентами и членами Академии. В перспективе возможна и организация Российской академии наук. Особо торопиться не стоит, нужна большая и кропотливая подготовка, необходим серьезный конкурс, чтобы авторитет новой академии был весом и значим.

— *Дмитрий Сергеевич, я знаю, как вас беспокоит проблема утери Ленинградом его классических традиций. Как вы ратуете за возрождение «великого города с областной судьбой»?*

— Видите ли, Ленинград, его архитектурные ансамбли — редчайший образец классики. Сохранить город — важнейшая задача. Увы, так много варварски разрушено, и это продолжается. Недавно я узнал, что на металлолом сданы многие чугунные решетки, заборы, ворота XVIII—XIX вв. на фортах и Финском заливе и кое-где в Ленинграде. Оказывается, за эту варварскую работу дают даже премию, ибо старинный чугун — высокой пробы, он сделан на древесном угле и не ржавеет. И так в системе бесхозяйственности разграбляются дворцы, жилые здания. Больно даже думать об этом. Есть Общество охраны памятников истории и культуры, есть Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры, но...

— *...Нет единого хозяина?*

— Давно назрела необходимость передать дворцы и дворцовые ансамбли, представляющие собой несомненную историческую и художественную ценность,

полностью под учреждения культуры, чтобы они полноправно владели ими. Это будет справедливо во всех отношениях. Таких дворцов десятки. Что делают в них военные училища, академии, «закрытые» учреждения и НИИ? Этими проблемами может и должно заниматься общество «Классика». Как видите, сонм проблем.

— *На одном из митингов, на котором были и «левые», и «правые», мне довелось слышать прямо противоположные мысли. Одни утверждали: сначала надо накормить народ, а затем заняться культурой, нравственностью. Другие: начнем с нравственности, культуры, ибо накормить народ — дело долгое.*

— Не надо откладывать и те, и другие проблемы. Народу нужна колбаса, но народу необходима и культура. Без культуры, без восстановления классических принципов образования, воспитания, без развития классических традиций культуры, без духовной преемственности даже сытый человек одичает. Так что необходимость создания общества «Классика» назрела. Надо объединить усилия — и людей науки, и людей культуры, и работников просвещения — сначала ленинградцев, затем их союзников по стране. Учредителем общества «Классика» должен стать Советский фонд культуры. Ленинградское отделение СФК готово к этой работе.

1990 *Диалог вел Виталий Потемкин*

НАРОД ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СВОИ СВЯТЫНИ

Ныне совершилось чрезвычайно важное в нашей духовной жизни. Религию никто уже не противопоставляет культуре. Культура рождалась в недрах религии и была тысячелетиями с нею связана. Культура никогда не устаревает и всегда современна — современна в широком смысле этого слова, как современна и красота. Современна и та культура, которая жила и живет в религии. И это независимо от того, верующий или неверующий человек, причисляющий себя к числу культурных. Мы ведь все неверующие по отношению к египетской религии или к религии античности. Но значит ли это, что, изучая культуру Египта и античности, особенно их искусство, мы от своего «неверия» меньше их ценим? Более того, изучая искусство античности или Египта, мы не можем игнорировать сами верования, их храмовые действа или язык, на котором эти религии существовали.

Поэтому знание богослужения, знание церковнославянского языка или арабской письменности и пр. обязательно для серьезного искусствоведа, изучающего искусство того или иного народа нашей страны.

Понятно, что чисто музейного ознакомления с религиозными культурами явно недостаточно как для верующего, так и для неверующего. Впрочем, говорят, что крупнейший русский египтолог академик Б. А. Тураев верил в египетских богов. Я, впрочем, в этом сомневаюсь: уж слишком тесно связана религия Древнего Египта с египетской землей и ее историческими событиями.

Вот почему каждого культурного человека, независимо от его верований, крайне возмущает ужасающее состояние тысячи отечественных храмов. Древние культуры нашей страны для нас святыня. И опять-таки

скажу — все равно, верующие ли мы или атеисты. В какой-то мере мы все верующие: мы верим в культуру, в ее бессмертные ценности.

Поэтому многие деятели нашей культуры — и я в их числе — подписали письмо-обращение, напечатанное недавно в «Литературной газете», о возвращении памятников церкви церковным организациям. Обращение короткое, а потому требующее разъяснений, дабы не воспользовались им люди, руководствующиеся только крайними решениями и не заботящиеся о сохранности и доступности памятников. Это заставляет меня объяснить свою позицию в этом очень сложном вопросе и обратиться ко всем с просьбой серьезно обсудить его в печати.

Храмы, молитвенные дома и монастыри, используемые не по своему назначению и не являющиеся музеями, безусловно, должны быть возвращены религиозным организациям — христианским, мусульманским, иудейским, буддийским. Но только по требованию верующих и церкви. Я не могу себе представить, что те тысячи храмов, которые уничтожались семьдесят лет, переданные церкви в их полуразрушенном состоянии, могли бы быть сразу ею восстановлены. Эта единовременная передача повела бы к еще большему их разрушению. Следовательно, передавать необходимо, но только по требованию верующих и с их обязательством восстанавливать наши религиозные святыни и хранить.

Храмы и монастыри, в которых организованы достаточно серьезные музеи, не оскорбляющие при этом религиозных чувств верующих, могут оставаться за музеями, под их наблюдением, но я допускаю, что в них могут совершаться религиозные службы — постоянно или время от времени, как это делается во многих храмах мира (Сан-Марко в Венеции, Нотр-Дам в Париже и т. д.). Ежедневная служба совсем не обязательна. Вспомним, что в новгородской церкви Николы на Липне конца XIII в. служба совершалась раз в году, во всемирно известной церкви Покрова на Нерли — два раза в год и т. д. Думаю, что такое двойное использование храмов не повредит им, а в иных случаях даже улучшит их содержание. Во всяком случае, алтарь Успенского

собора в Московском Кремле перестанет использоваться как своего рода кладовая. Но надо проявить крайнюю осторожность, если будут совершаться службы в церкви Василия Блаженного на Красной площади. Храм этот был построен как памятник, помещения в нем очень тесные. Служба в нем привлечет тысячи любопытствующих. Думаю, что там могли бы совершаться только заупокойные службы по жертвам необоснованных репрессий.

Что касается икон и церковной утвари, находящихся в настоящее время в музеях, и особо ценимых книг в наших библиотеках, то передача их может совершаться в исключительных случаях и, разумеется, с согласия библиотек и музеев, где они хранятся.

Необходимо понять, что всякого рода преобразования музеев, их разделение или слияние, как правило, нарушают сложившуюся систему, ведут к пропаже вещей и к путанице, особенно если исследователи ищут необходимую им вещь по ссылкам в научной литературе, по сложившимся каталогам и картотекам. Я решительно против того, чтобы иконы, требующие внимательного наблюдения реставраторов, исследователей и специального режима хранения, под влиянием момента, по сиюминутным соображениям передавались церкви. Передача в музеи церковных произведений и икон совершалась всегда и во всех странах. Вспомните, что итальянская живопись на дереве XIII — XIV вв. (так называемая «византинизирующая») — это иконы. Часть своих церковных ценностей католическая церковь держит не в храмах, а в Музее Ватикана... Примеров можно было бы найти тысячи. Приведу русские примеры.

С середины XIX в. существовал Музей Академии художеств, называвшийся Христианским Музеем, или Музеем православного иконописания. Хранители музея А. М. Горностаев и В. А. Прохоров способствовали собиранию предметов древности из новгородских монастырей и церковных хранилищ: амвон 1533 г., фигуры «старцев» — скульптурные изображения, снятые с крышек рак. И это с разрешения просвещенных церковных властей. Было много и частных собирателей, особенно среди иконописцев и реставраторов. Когда был открыт

Музей Александра III, то в нем сразу было создано отделение христианских древностей. Частные лица, религиозные организации продавали и дарили музею иконы и церковную утварь.

В начале века (1901 г.) В. В. Суслов жертвует деревянную резьбу, в том числе огромный киот — «сень» из Романова-Борисоглебска (ныне Тутаев на Волге). Лучшие иконы Русского музея происходят из собрания академика Н. П. Лихачева. В него входили 1431 икона и 34 произведения прикладного искусства (по примерной оценке того времени, стоимостью 300 тысяч золотых рублей). Археологические комиссии, общества и институты способствовали приобретению церковной «старины». В 1909 г. академик Н. П. Кондаков подарил Музею Александра III (будущему Русскому музею) коллекцию ценнейших икон. Художник П. И. Нерадовский в 1909 г. работал хранителем художественного отдела музея, а затем его заведующим. Он собирал коллекцию церковных вещей, устраивал поездки по древнерусским городам и монастырям. В 1910 г. ездил в Иосифо-Волоколамский монастырь и после переговоров с церковными властями в 1912 г. привез в музей предметы, которые не могли служить «по ветхости» монастырю: иконы, церковную утварь, хоругвь, пелены, два покрова на гробницу Иосифа Волоцкого.

16 мая 1913 г. Николай II и сопровождавший его искусствовед Георгиевский посетили Покровский Суздальский монастырь. Они обратили внимание на обветшавшие келейные иконы монахинь, постриженных в монастыре. В результате переговоров в 1914 г. в Музей Александра III, несмотря на трудности военного времени, были привезены 43 иконы. С двух икон монахини попросили снять копии. И это было сделано. 7 августа 1912 г. П. И. Нерадовский привез несколько произведений из Благовещенского собора в Муроме. Николай II отпускал из личных средств деньги на приобретение икон для музея.

Что же нам прикажете, «быть святее самого папы»? Это я спрашиваю тех, кто, не вдумываясь в суть проблемы, требует: «церковное — в церковь».

Я не перечисляю, сколько было спасено церковных ценностей во время закрытия церквей и монастырей в 20-е годы нашего века! Совершенно бесценные иконы

и произведения искусства были спасены экспедициями И. Э. Грабаря и многими другими. Кирилло-Белозерский монастырь был закрыт в самом начале 20-х годов. В 1923 г. из него было вывезено несколько икон в музеи. А собственный музей в монастыре открылся только в 1924 г.

Если речь идет о передаче икон в церковь, то в равных условиях находятся и церковные рукописи XI—XIX вв. В чем различие? Значит, и Остромирово Евангелие, и Мстиславово Евангелие, и Архангельское Евангелие передавать церкви? И с ними тысячи и тысячи памятников самой книжной из культур мира—культуры Древней Руси? Значит, ошибался митрополит Евгений Болховитинов, а с ним и другие церковные деятели и исследователи и целые учреждения (например, императорская Археологическая комиссия), когда вывозили из монастырей и церквей древние, наиболее ценные книги? А ведь иконы—это тоже книги, которые необходимо не только выставлять, а изучать, «читать». Недаром в иконах усматривается «умозрение в красках».

Другое дело, что необходимо прекратить кощунственную продажу икон за границу, да еще снабжая вывозимые иконы документами от Министерства культуры СССР, в которых удостоверяется: «икона XVII века—к вывозу разрешена»! И из таможен необходимо передавать отбираемые иконы именно церкви. И на аукционы в другие страны не вывозить. Несколько лет назад нашей страной был устроен аукцион икон в Греции, сильно подорвавший репутацию СССР как культурной державы.

Как быть с иконами, почитаемыми верующими как чудотворные? Многие из них были спасены музеями, как, например, икона Троицы из Троице-Сергиевой лавры, одно время закрытой и разоренной. Иконы Владимирская, Донская, «Троица» Андрея Рублева прежде всего должны быть достойно выставлены в новом здании Третьяковской галереи. Недопустимо помещать их в общем ряду очень тесной экспозиции. И вообще, как можно закрывать на длительный ремонт музей, не выставляя для широкого обозрения основные святыни русского искусства, не только церковного? Ведь надо было подумать, что на русской живописи люди воспитываются, а на ее шедеврах особенно!

Говорят, надо раздать запасники крупнейших музеев в музеи нашей периферии. Периферию, конечно, необходимо укреплять, но надо, чтобы на периферии были условия для безопасного хранения произведений искусства, необходимо, чтобы они были широко доступны для изучения. Большое число посетителей музеев, протестуя против хранения произведений искусства в запасниках, слабо представляют себе, что такое запасники таких музеев, как Третьяковская галерея или Русский музей, Эрмитаж и пр. Предполагают, что это только хранилища — вроде складов. Между тем в запасниках есть и свои выставки для специалистов, ведется научная работа, произведения из запасников постоянно используются для временных выставок, чрезвычайно важных для культурной жизни самых разных городов нашей страны. Хотя я против излишнего увлечения наших музеев выставками за рубежом, для которых берутся и вещи из экспозиции. Каждое исчезновение, пусть временное, вещей из экспозиции — это урон воспитательной работе музеев. Страна, которая так нуждается в подъеме культуры своего народа, должна делать все возможное, чтобы максимально использовать силу воздействия искусства. Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы лишить народ хотя бы на время его религиозных ценностей. Согласен, что есть музеи, как, например, Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР, запасники которого в очень плохом состоянии, и часть его вещей (преимущественно икон) могла бы быть передана при соответствующей экспертизе церкви. Но это только мое предположение, даже не предложение.

Повторяю, музеи «дышат» выставками. Выставки составляют важную часть духовной жизни наших городов.

Еще один вопрос, который крепко связан с проблемой передачи ценностей из музеев и библиотек. А кто, собственно, является хозяином этих ценностей?

Сейчас некоторые музеи и библиотеки, а также министерства рассматривают национальные святыни как свою собственность, распоряжаются их судьбой, никого не спрашивая. Распоряжаются всем этим богат-

ством «трудовые коллективы», создаются совместные с иностранными фирмами предприятия для извлечения прибылей.

Разумеется, это совершенно недопустимо. И никакое министерство, никакая Академия наук не вправе принимать роковые для наших национальных ценностей решения. И даже не просто национальных, а ценностей, принадлежащих человечеству.

Бесконтрольное распоряжение судьбой памятников культуры общечеловеческого значения характерно не только для нашей страны, хотя здесь мы побили, кажется, все рекорды. Надо понять, что культура принадлежит всему человечеству, как принадлежат ему атмосфера планеты, моря и океаны. Культура омывает и очищает мир. Нельзя реставрировать бесконтрольно произведение французской живописи, не считаясь с мнением французских искусствоведов. Нельзя решать вопрос о принадлежащих всему человечеству Кижах, не создавая совета всех реставраторов деревянного зодчества, в том числе из Канады, Финляндии, Норвегии и т. д. Пора подумать о выработке всемирного морального кодекса «держателей» памятников культуры. Он будет касаться «трудовых коллективов» музеев, коллекционеров, мэрий городов, министерств и правительств. Мы не можем отменить право юридической собственности, но мы можем воздействовать на совесть собственников, подвергнуть недостойных держателей моральному остракизму. Этот вопрос я дважды ставил перед главой ЮНЕСКО Федериком Майором. Я предлагал создание постоянно действующей консультации по вопросам моральной ответственности держателей культурных ценностей.

Надо твердо помнить: музейные, архивные работники, библиотечные дирекции — не собственники хранимых ими ценностей, а министерства и исполкомы — тем более.

Еще один сюжет для размышлений. В подавляющем большинстве случаев церкви строились на народные деньги. Даже если деньги давала церковь — она была только передатчиком средств. Народ жертвовал иногда свои последние трудовые гроши на построение

храма. Сборщики средств отказывали себе во всем, проходили, собирая деньги, иногда сотни верст. И если музей владеет церковью, достойно хранит ее — он владеет ею во славу народного искусства, народного трудолюбия, народной веры, наконец! И следует заботиться только, чтобы музей невольно не осквернял церковь, не осквернял алтарь, чтобы время от времени, как это бывало и в Древней Руси, в ней совершались богослужения.

За чей счет следует делать реставрацию храма при передаче его церкви? Ясно, что в первую очередь за счет тех, кто им временно владел. Но и за счет государства. И за счет верующих. Именно так в Ленинграде обстоит дело с главной мечетью города.

Вопрос о передаче верующим церковных зданий — вопрос очень большой, срочный, и в случаях бесспорных с его решением нельзя медлить. Народ должен иметь свои святыни — религиозные, культурные, природные... Но последний вопрос — о замечательных природных ландшафтах, с которыми также связано воспитание нравственности и культуры,— должен быть поднят особо. Мне хочется только напомнить о том, что и его следует как можно скорее решать.

1990

АГРЕССИВНОСТЬ «БЕЗДУХОВНОСТИ»

Сейчас много говорят о «бездуховности» нашего общества. Поправлю: «бездуховность» охватила не только наше общество, она характерна для нынешнего времени в целом и для всего человечества. В той или иной мере, конечно. Я не берусь давать точные определения того, что такое «бездуховность». Это, во всяком случае, падение роли духовной культуры, отсутствие интереса к высшим ступеням культуры, отсутствие простого знания того, что такое культура, элементарной осведомленности.

Техника заполонила собой все и не оставила у человека времени и возможности посвящать себя истинной культуре. Но природа не терпит пустоты. Техника и весь комфорт, который с нею связан, может вытеснить духовную жизнь в человеческой деятельности, но не заменить ее. Заменила духовную жизнь внешняя цивилизация и многое с нею связанное. Это многое обладает одним свойством — страшной агрессивностью. Агрессивные формы культуры (если их можно только назвать культурой!) распространяются в наше время с быстротой эпидемии. Когда здоровенный безголосый парень орет через микрофон сто раз одну и ту же фразу, короткую (длинной не сочинить), не имеющую особого смысла, и при этом весь покрывается потом от напряжения и смотрит обезумевшими глазами,— удивляюсь не ему, а тем, кто его с не меньшим азартом слушает. Это агрессивность в чистом виде. И не случайно после таких концертов публика, вошедшая в раж, стремится удовлетворить свой позыв к агрессивности: начинает бить и ломать мебель в зале, а выходя на улицу — опрокидывать плевательницы, тумбы, ларьки, тележки.

Любовь мужчины и женщины всегда служила ос-

новным стимулом и содержанием искусства, поэзии — в первую очередь. Но когда любовь заменяется голым сексом, сексом без одежд, то ни о каком Эросе в высоком смысле не приходится говорить. Чистая агрессивность, и при этом в самом святом. Разве те, кто приходит на эротические сеансы, учатся ухаживать за любимой девушкой? Разве они стремятся подарить ей цветы, произвести на нее впечатление своей деликатностью, внимательностью, уважительным отношением, культурой поведения, блеснуть знаниями, способностями? Преклониться перед любимой, перед «вечной женственностью»? «Вечная женственность» — смешная старомодность. Прабабушкин нафталин. На самом деле все просто до предела — как у насекомых. Чистая агрессивность в любви.

От духовной пустоты и порожденная ею агрессивность в идеологии. Это надо знать политикам, которые хотят воспитать в нас навыки парламентаризма. Упрощенные концепции жизни (куда до мировоззрения!) заполняют поведение человека агрессивностью, доминируют у молодежи. Отсюда опасность распространения крайних политических теорий: от «Памяти», монархизма правого толка до анархизма. «Черное знамя — это так красиво!» «Когда окружающие тебя боятся — это так приятно!» Во всем этом есть эрзац храбрости, эрзац убежденности. Отсюда же стремление поразить невероятной одеждой, чудовищной прической, выразить свое презрение к окружающим неопрятностью своего платья. «А нам-то что? Пусть смотрят и терпят!» Агрессивность — это и брань, и арго в разных его формах (об этом у меня есть специальная работа 1964 года). Для агрессивности характерно стремление сколачиваться в группы, собираться в банды.

Пустота агрессивна. Она угрожает лопнуть с треском, иногда даже с опасностью для жизни окружающих, для зрения их, во всяком случае... Иногда бездуховному человеку хочется даже пострадать, ввязаться в драку. Это придает ему имидж человека, «страдающего за убеждения». Пустота создает шум, в котором скрывается бездуховность.

Поэтому бессмысленно полагаться в борьбе с растущей агрессивностью на запрещения, разгоны беснующейся толпы милицией и пр. Агрессивным людям

нужны свидетели, зрители, скандалы. Они испытывают от этого только удовлетворение. Лучше, если это возможно, как можно меньше замечать эту громкую пустоту. Агрессивность, как и всякая истерика, должна тушиться спокойствием и безразличием. Это хорошо усвоила английская полиция, «охраняющая» манифестации протестующих от возмущенных ими.

«Мне отмщение, и Аз воздам», — говорит Бог в Библии. Люди, не мстите — зло (если оно только действительно зло, а не отчаяние правых) само покарает себя.

Но конечно, одного спокойствия недостаточно в борьбе с растущей агрессивностью. Надо понять ее истоки. Основанная на бездуховности агрессивность, не имеющая определенной, серьезной цели, всегда найдет себе эту цель и противостоящую силу, в которой бездуховная агрессивность так нуждается (заметьте, что я постоянно говорю об агрессивности не самой по себе, а вызванной бездуховностью).

Лучшая форма борьбы с агрессивностью бездуховности — спокойно противопоставить ей духовность, культуру. И здесь мы подходим к центральной мысли моей статьи. Как я уже сказал, агрессивность происходит от потребности в деятельности. Это деятельность в чистом виде, без содержания. Жажда деятельности — естественное свойство человека. Ее нужно вооружить полноценным содержанием. Именно культура дает достойное, высокое содержание этой жажде активности. Благодаря культурным интересам стремление к активности приобретает полезные формы — полезные и для общества в целом, и для отдельной личности. Необходимо противопоставить агрессивности неагрессивную по своей природе культуру. Настоящая культура не нуждается для своего развития в насилии. Она сама в себе несет притягательность. Она никого не отталкивает, но всех приглашает. Поэтому-то культура вечна и дает выход жаждущему деятельности человеку.

Что такое культура, которую можно противопоставить агрессивной «массовой» полукультуре? Есть понятия, которые с трудом поддаются определению. Тем более неоднозначно такое явление, как культура. Культура труда, поведения, культура нации, народа, культура человека, человечества. Сколько различных оттен-

ков в понимании культуры во всех этих словосочетаниях!

Возьмем только одно, необходимое нам в дальнейшем словосочетание — «классическая культура» или даже проще: «классика» — и остановимся на классических произведениях. Классические произведения — это те, что прошли испытание временем, те, что остались современны и для нас.

Если есть вечное в духовной области, то это красота и нравственность. Не утрачена красота многих русских былин (особенно собранных в знаменитом сборнике XVIII в. Кирши Данилова), плачей Ирины Федосовой, народных лирических песен. К классике относится и «Слово о полку Игореве», и поэзия Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Некрасова, Фета, Блока и др., проза того же Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, Чехова, Бунина и пр. Не утратилась красота многих античных произведений — в зодчестве, скульптуре, философии, литературе. К классике относятся сотни произведений западной литературы, живописи, скульптуры. Особое значение имеют классические произведения музыки, ибо музыка обладает наибольшей объединяющей людей силой.

Классика — это то, что остается постоянным в мировой культурной традиции, продолжает участвовать в жизни культуры. А самое главное — она воспитывает, делает чище, содержательнее каждого человека, который к ней приобщается, причащается ей. В каком смысле «содержательнее»? Содержательнее культурным опытом. Классические произведения литературы позволяют прожить не одну жизнь. Классическая поэзия обогащает человека своим лирическим опытом, обладает врачующими свойствами.

Культурный человек — это не тот, кто много читал классических произведений, много слушал классическую музыку и т. д., а тот, который обогатился всем этим, которому открылась глубина мысли прошедших веков, душевная жизнь других, который многое понял и, следовательно, стал терпимее к чужому, стал это чужое понимать. Отсюда приобрел уважение к другим народам, к их культуре, верованиям.

Итак, люди, ставшие терпимее к чужому на основании знаний бессмертного в искусстве и в философии,

умеющие открывать на основании своих знаний и культурного опыта новые ценности в прошлом и настоящем,— это и есть люди культуры, интеллигенты. Интеллигенты — это не просто люди, занятые умственным трудом, имеющие знания или даже просто высшее образование, а воспитанные на основе своих знаний классической культуры, исполненные духа терпимости к чужим ценностям, уважения к другим. Это люди мягкие и ответственные за свои поступки, что иногда принимается за нерешительность. Интеллигента можно узнать по отсутствию в нем агрессивности, подозрительности, комплекса собственной неполноценности, по мягкости поведения. Агрессивен только полуинтеллигент, теряющий себя в шаманизме «массовой культуры».

Из всех моих соображений об агрессивности, порождаемой бездуховностью, и, напротив, социальности культуры следует один непреложный вывод. Если мы хотим создать нормальное общество, если мы хотим нормального экономического, научного, технического развития, нам следует во что бы то ни стало принимать широкие и глубокие меры по поднятию культуры. Хотя — повторяю то, что уже было мною сказано,— падение гуманитарной культуры, насколько я могу судить, идет не только в нашей стране.

Многие твердят: «сперва накормить народ, а потом уже заботиться о культуре». Отсюда «остаточный принцип» в отношении к культуре. Культура на самом последнем месте во всех наших заботах и финансовых ассигнованиях. А ведь от внутренней культуры каждого человека в отдельности и общества в целом зависят и экономика, и техника, и наука. Элементарная честность населения — предпосылка развития экономики. Нам очень повредила вульгарно понимаемая формула «бытие определяет сознание». В конечном счете, может быть, и так. Но в очень многих конкретных случаях именно сознание необходимости перемен влечет за собой перемены в бытие народа. Никакие экономические законы в обществе не действуют, если нет культуры общения. Техника требует интуиции, интуиция же создается культурой изобретателя, проектировщика.

Оставим заботе министерств просвещения подъем преподавания гуманитарных дисциплин — истории, ли-

тературы, языка, музыки (хотя бы пения), рисования, логики и пр.

Оставим также заботе министерств культуры чрезвычайно важное сейчас спасение наших гибнущих библиотек, архивов, музеев, памятников истории и культуры.

Дело общественности — создавать общества коллекционеров, любителей того или иного искусства или ремесла, общества друзей музеев, старых садов и усадебных парков (кстати, в США есть общество друзей Павловского парка; в Павловске такого нет!), асоциации краеведов — для воспитания духовной оседлости, привязанности к своим местам и т. д.

Перед общественными организациями, занимающимися проблемами подьема культуры, и в первую очередь перед Советским фондом культуры, стоят две задачи, определяющие два направления его деятельности. Одно — местное, в котором скрыто всеобщее, другое — всеобщее, в котором заложено и местное.

Следует развивать духовную оседлость людей, их привязанность и уважение к своей местности и к своей стране. Здесь важна деятельность самых разнообразных краеведческих организаций. Одни общества и кружки пусть занимаются деревянным зодчеством, которым славен их город или село. Другие возродят традиционные для их местности промыслы. Третьи — работают над созданием истории своего края. Вокруг местных музеев должны организовываться кружки «друзей музея». Мне кажется, было бы очень интересно организовывать, например, ассоциации «друзей реки», на которой расположен город. Ведь река — святое место для города. Забота о ее чистоте, красоте берегов должна быть важной заботой любого города на реке.

Второе направление деятельности общественных организаций культуры — возрождение интереса к классике. Необходимо создание по всей стране отделений, филиалов, даже просто групп общества «Классика». Их деятельность может быть чрезвычайно разнообразна — от изучения классических языков (латинского, греческого, церковнославянского, арабского) до создания хоров подлинной народной песни. Именно подлинной, то есть той, что проверена поколениями наших предков.

Советский фонд культуры за три года не создал еще концепции таких обществ «Классика». А между тем это требует не только общественной инициативы, но и согласований с музеями, школами, театрами. Музеи как воспитательные учреждения должны быть бесплатными для молодежи (это делается во всех странах), на концерты классической музыки учащиеся также должны приобретать либо бесплатные билеты, либо билеты по сниженным ценам. Культура не может быть на безоговорочном хозрасчете. Ее «отдача» поступает не сразу.

Советский фонд культуры обязан выработать при широком общественном обсуждении концепцию развития культуры. Обращающиеся в фонд должны ощущать себя не просителями, а соучастниками великого дела подъема культуры в нашей стране. Дом фонда на Гоголевском бульваре под номером 6 должен стать родным домом каждого интеллигентного человека.

1990

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЖИТОЕ

ТРЕВОГИ СОВЕСТИ

Лихачев Дмитрий Сергеевич

Я ВСПОМИНАЮ

Художественная публицистика

Редактор *Е. Б. Дементьева*
Младший редактор *Т. И. Матвеева*
Художественный редактор *В. А. Пузанков*
Художник *Г. А. Семенова*
Технические редакторы *Т. И. Юрова, Д. Я. Белиловская*

ИБ № 18422. Сдано в набор 02.07.90. Подписано в печать 14.12.90. Формат 84 × 108$^1/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ.л. 13,44. Усл.кр.-отт. 13,65. Уч.-изд. л. 12,47. Тираж 10 000 экз. Заказ № 942. Цена договорная. Изд. № 47168.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по печати. 119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Дмитрий
ЛИХАЧЕВ
Я ВСПОМИНАЮ

Что же мы — боялись? В правде нет страха. Правда и страх — несовместимы. Мы должны бояться только своих порочных мыслей, мыслей, неуважительных по отношению к нашим друзьям, неуважительных по отношению к любому человеку, к нашей Родине. У нас должен присутствовать единственный страх: страх лжи. Вот тогда и будет в нашем обществе здоровая нравственная атмосфера.

Д. С. Лихачев



ПРОГРЕСС